

АЛЕКСАНДР ГЛАДКОВ

ВСТРЕЧИ
с
ПАСТЕРНАКОМ

YMCA-PRESS
Paris

АЛЕКСАНДР ГЛАДКОВ

**ВСТРЕЧИ
с
ПАСТЕРНАКОМ**

YMCA - PRESS

11, rue de la Montagne Ste-Geneviève — Paris 5e



Борис Пастернак, Мейерхольд и Александр Гладков

ГЛАДКОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ

Родился в Муроме, 30. 3. 1912 г. В 1934-37 работал в театре В.Э. Мейерхольда. Первая пьеса А. Гладкова — героическая комедия «Давным-давно» поставлена осенью 1941 г. в осажденном Ленинграде. В основу пьесы легли эпизоды из биографии Героини Отечественной войны 1812 г. Н. Дуровой.

На сюжет этой пьесы, переведенной на многие языки, композитором Н. Рахмановым написана муз. комедия «Голубой Гусар». Этой же теме посвящен киносценарий Гладкова «Гусарская баллада» (1962).

Им же написаны следующие произведения: драма «Бессмертный» (1942, совместно с А. Арбузовым), а также драматические этюды «Неизвестный матрос» (1942), «Нахал» (1942), «Новейший метод» (1942), пьесы «До новых встреч!» (1956), «Первая симфония» (1957), «Ночное небо» (1959).

В 1961 Гладков опубликовал киноповесть «Бумажные цветы» (совместно с Н. Оттенюм), посвященную современной молодежи. Гладков является автором воспоминаний о В.Э. Мейерхольде.

(Краткая литературная энциклопедия 1964 г.)

« Крыши городов дорогой,
Каждой хижины крыльцо,
Каждый тополь у порога
Будут знать тебя в лицо ».

В. Пастернак

1.

Я познакомился с Борисом Леонидовичем в конце зимы 1936 года в доме Мейерхольда.

Всеволод Эмильевич пригласил меня на обед в обществе Пастернака с женой и Андре Мальро с братом. Обед затянулся до вечера. Мальро со своим спутником уехал на Курский вокзал к крымскому поезду. Вместе с М. Кольцовым и И. Бабелем он отправился в Тессели к больному Горькому. После их ухода я тоже хотел уйти, но меня задержали и я провел длинный блаженный вечер в обществе Пастернака и Мейерхольда с женами за превосходно сваренным самим В.Э. кофе с каким-то небывалым коньяком. Именно тогда снята была та фотография, которая сейчас висит над моим столом: молодой, худой, застенчивый.

Разговор за кофе был интересен и значителен, но весь связан с Мейерхольдом и его тогдашним положением. Я рассказал о нем в своей книге «5 лет с Мейерхольдом» и не стану здесь повторяться. К сожалению, исключительность положения, моя перенапряженность, не нуждаются в оправдании и несколько чрезмерные дозы коньяка, который В.Э. щедро подливал (а я стеснялся отказываться), привели к тому, что я запомнил далеко не все, что тогда говорилось, за что себя на другой день беспощадно казнил.

Но все же это было началом знакомства с Пастернаком.

Встречая после Б.Л. на концертах довольно часто, я кланялся и он отвечал, но разговаривать с ним мне долго не случалось, кроме одной встречи на Гоголевском бульваре, когда он сам остановился и заговорил с необычайной прямоотой и откровенностью. Было это осенью 1937 года, в разгар арестов и расстрелов. Говорил он один, а я молчал, смущенный неожиданной горячностью его монолога, который он вдруг оборвал чуть ли не на полуслове. Он был взволнован и вспоминал Достоевского. Помню фразу о Михалеве. Незадолго перед этим был арестован мой брат и запись о встрече в моем блокноте красноречиво лаконична: дата, Гоголевский бульвар, Пастернак...

В начале года он подвергся поношениям на, так называемом, «пушкинском» пленуме правления Союза писателей, — расплата за похвалы Бухарина в докладе о поэзии на Первом съезде писателей. Особенно злыми были выступления А. и Х. Речь Х. на первый взгляд может показаться странной. Почему он, сам, подлинный, тонкий поэт присоединился к грубым, демагогическим нападкам на Пастернака? Понять это можно только, если представить психологию времени, насыщенного страхом и вошедшей в норму человеческого обихода подлостью. Откройте любой лист газеты того времени и вы увидите, как часто завтрашние

жертвы, чтобы спастись, обливали грязью жертвы сегодняшнего дня. Еще осенью, или в начале зимы 1936 года разыгралась история с отказом Пастернака подписать протест против книги А. Жида «Возвращение из СССР». Пастернак сослался на то, что он не читал книги и это было чистейшей правдой, но ее не читало также и девять десятых писателей, давших свои подписи. Нравственная щепетильность Пастернака казалась позой вызова, чем она вовсе не была. Помню, как искренно негодовал литератор В., подписавший протест. — Ну и что же, что не читал? — говорил он. — Я тоже не читал. Можно подумать, что все остальные читали! И чего ему больше всех надо? Ведь «Правда» написала, что книжка — вранье...» В этом эпизоде уже был в зародыше тот конфликт Пастернака с Союзом писателей, который так драматично определился в дни Нобелевской премии. Ведь тогда тоже большинство осуждавших Б.Л. не читало его романа.

После этого Пастернака долго не печатали. Только перед самым началом войны вышла книжка переводов и в журнале «Молодая Гвардия» был опубликован «Гамлет» (перевод трагедии).

Весной 1940 года Б.Л. читал «Гамлета» в Клубе МГУ на улице Герцена. Это был открытый, афишный вечер. Вместе с Всеволодом Лободой, молодым поэтом (погибшим вскоре на войне), мы купили билеты. Приятно было после сравнительно большого перерыва услышать носовое гудение Б.Л. и его чтение с такими неожиданными ударами. Он показался моложавым и бодрым. Но еще больше понравилась мне реакция переполненного зала — восторженная, чуткая, умная, интеллигентная. В большинстве — это были студенты МГУ и ИФЛИ, начала сороковых годов, чудо-поколение Павла Когана, Кульчицкого, Майорова, Гудзенко, Слуцкого. Помню, как, придя домой, я записал в дневнике о своем удивлении перед чудесной аудиторией, разумеется не предвидя исторической судьбы этого

поколения, почти уничтоженного вскоре двумя войнами.

Лобода, мечтавший познакомиться с Пастернаком, уговорил меня зайти к нему в помещение за сценой. Б.Л. стоял посредине большой комнаты, окруженный девушками, и громко, увлеченно говорил им о Гете, Гердере, Шекспире, а они, улыбаясь, смотрели на него (на Б.Л., когда он, увлекался, трудно было смотреть без улыбки, так он всегда был непосредствен и чист в своем предположении, что остальным это так же интересно, как и ему). Он нас не заметил и мы не решились его прервать. Когда мы вышли на улицу, только что кончилась первая летняя гроза. Вдали еще погромыхивало, а воздух был полон озоном, запахом молодых майских лип и гудением пастернаковских строчек.

Чем-то этот вечер напомнил мне другой вечер начала тридцатых годов, когда я впервые увидел Пастернака и услышал его чтение.

В клубе ФОСП'а, в том самом знаменитом « ростовском » доме, где и сейчас помещается Союз писателей, в зале, где в апреле 1930 года лежал мертвый Маяковский, двухсветном, неудобном зале с низкой сценой и крошечной комнаткой сзади. Пастернак читал только что законченного « Спекторского ». Он вышел на сцену красивый, совсем молодой, смущенно и приветливо улыбнулся, показав белые зубы, и, начал говорить ненужные объяснительные фразы, перескакивая с одного на другое, потом вдруг сконфузился, оборвал сам себя, сказал что-то вроде: — « Ну, вот сами увидите... » снова улыбнулся и начал тягуче: « Привыкши выковыривать изюм певучести из жизни сладкой сайки... » Я и сейчас, через тридцать с лишним лет, могу скопировать все его интонации и когда пишу это, у меня в ушах звучит его густой, низкий носового тембра голос. « Пространство спит, влюбленное в пространство ». А в открытые окна доносился запах лип и дребезжание трамвая № 26 на улице Герцена.

В стихи Пастернака я влюбился уже за несколько лет до этого еще в средней школе. Первой моей книгой Б. Л. стала маленькая белая книжка библиотечки «Огонька» с портретом на обложке, где я наткнулся на цикл «Разрыв» и, с юношеским пристрастием ко всему драматическому, стал бормотать его строки еще раньше, чем понял нравится мне это или нет. Маяковский, которым я уже давно увлекался, не пропуская ни одного его выступления, упомянул в «Как делать стихи» строфу из «Марбурга», назвав ее гениальной и этого было достаточно, чтобы вскоре знать «Марбург» наизусть. Понимание не предшествовало любви, скорее — наоборот. Очень скоро все напечатанное поэтом вошло в душевный инвентарь юности. Все летние дожди стали казаться цитатами из него, все туманные рассветы, все закапанные утренней росой сады — природная природа горожанина, которую волшебство поэзии лишило скуки обиходной привычности и вернуло ей блеск и трепет чуда. Стало ясно, что куст домашней сирени ничем не хуже какого-нибудь романтического дуба на обрыве или есенинской березки. Неоромантизм Пастернака не уводил далеко в экзотику дальних гор или морей. Он отлично уживался со скамейкой на Гоголевском бульваре, купальной на Клязьме, Нескучным садом. Он превращал в поэзию все окружающее, с детства знакомое — город, его мостовые, шелуху семечек, вкус апельсиновой дольки, шелестящий под дождем ночной сад, расплыв вальса, книжные полки с томами старых философов и историков. В одной точке чудесно соединились сразу бессмертное и почти бессмысленное чмокание фетовского соловья, ирония Гейне, философская высота Тютчева и пряная музыка импрессионистов. Истинно-поэтическое всегда ближе к «непоэтическому», чем к истасканным поэтизмам романской популярщины, размывающей на медь пушкинские и лермонтовские червонцы: «У капель тяжесть запонок», «Вечер пуст как прерванный рассказ, оставленный звездой без продол-

женья», «намокшая воробушкой сиреневая ветвь». Поколения, рано полюбившие Пастернака, сразу взяли барьер вкуса, ставший обязательным на всю жизнь. Мир юности сложен и тяга к простоте ей чужда, если это не притворство. И в моей личной опыте и в опыте моих ровесников поэзия Пастернака никогда не противостояла поэзии Маяковского: — наоборот — она ее дополняла, углубляла, расширяла. Из своих живых современников только Хлебникова и Пастернака Маяковский называл гениальными. Впрочем, прямое противопоставление их друг другу тогда еще не было в ходу и никто не навязывал нам этой фальшивой дилеммы выбора.

Впоследствии Пастернак читался и перечитывался по-разному. Я говорю сейчас только о первом узнавании поэта, о том, как он когда-то вошел в мою жизнь, а сколько этих встреч было потом. Всегда книги его открывались на каких-то страницах и строчках, нужных именно в данное мгновение и каждый раз знакомые, но заново прочитанные стихи становились чем-то вроде ключа к тайнописи душевной путаницы, из которой поэзия помогала выбираться без урона.

Летом 1933 года вышло «Второе рождение». Из этого лета я сейчас и помню только бесконечные проходящие ливни, маленькую книжку со стилизованной крышкой фортепиано на обложке, все места, где она читалась и тех, кем она читалась. Стихи из нее не нужно было стараться запоминать. Едва прочтенные, они не уходили из головы сами. Это было именно то, что должно называться стихами, нечто невозможное в пересказе, кратко и поражающе точно. Как и строфы из «Сестры моей жизни» и «Поверх барьеров», они сразу становились формулами душевного опыта, расшифрованной стенограммой чувств, озарением догадки о многом еще не испытанном, но предстоящем.

Немного раньше появилась, сначала в отрывках в «Звезде» и «Охранная грамота», и тоже стала одной из тех книг, которую съешь в чемодан, куда бы ни

ехал, с которой боишься расстаться и которую можно читать, открывая наугад, с любого места, всегда получая что-то новое. Ее по выходе проворно выругали за идеализм и до сих пор она существует с этой репутацией. Некоторые страницы в ней для меня и сейчас еще темны, но я убежден, что виноват в этом читатель, а не автор. Но главы о детстве, о начале поэзии, о первой любви, о Скрябине, Рильке и Маяковском я считаю соперничающими с лучшим, что есть в русской прозе.

В последующие годы Пастернак иногда возникал на страницах журналов, или вновь надолго исчезал, подвергаясь критической анафеме. Он обладал способностью нечаянно попадать в разные политические двусмысленные обстоятельства. То это были комплименты Бухарина, то дискуссия о книге А. Жида.

Я слышал выступление Б.Л. на Первом съезде писателей. Это было в конце лета 1934 года, а в декабре выстрелом в Кирова раскололись тридцатые годы. Убийство Кирова положило начало сталинским репрессиям против его реальных и воображаемых недругов. О массовых высылках из Ленинграда все знали, но считали это локальным и единичным мероприятием. Только дальнейшее показало, что это была прелюдия к расправам 1937 и следующих годов.

В литературной среде до конца 1936 года обострения не замечалось и даже арест О. Мандельштама в мае 1934 года никого особенно не встревожил. Летом 1936 года умер Горький и только после этого события стали разворачиваться круто. Все это время Пастернак много переводил грузинских поэтов. Двумя изданиями вышел его однотомник. Впрочем, из второго издания в поэме «Высокая болезнь» уже были выброшены строки, заключавшие описание выступления Ленина на съезде Советов: «Предвестьем льгот приходит гений и гнетом мстит за свой уход». В них аполитичный поэт оказался более зорким пророком, чем многоопытные политики.

Моя память довольно точно датирует с начала тридцатых годов все полосы «признания» Пастернака и полосы «опал». Всемя признания длилось до конца 1936 года, т. е. до упоминавшегося мною эпизода с книгой А. Жида. Высшими его точками можно считать телефонный звонок Сталина Пастернаку с вопросом об арестованном Мандельштаме и овации после речи на съезде писателей. Потом где-то в середине 1940 года снова наметилось смягчение после почти четырехгодичной «опалы». Это был короткий период общей разрядки, необходимость которой вероятно диктовала обострившаяся военная опасность. Вышла книга переводов Б.Л., печатался переведенный в эти годы «Гамлет». Тогда же вышел сборник «Из шести книг» А. Ахматовой со стихотворением, посвященным Пастернаку. Оно кончалось так: «И вся земля была его наследством, а он ее со всеми разделил». Эта полоса продолжалась до первых послевоенных лет. В марте 1947 года в газете «Культура и жизнь» появилась редчайшая статья о Пастернаке и новая эпоха «опалы» длилась до смерти Сталина. Кроме переводов, ничто выходящее из-под его пера не печаталось вплоть до 1954 года, когда журнал «Знамя» поместил цикл стихов Пастернака из романа «Доктор Живаго». Я прочитал его еще находясь в лагере. Когда я вернулся в Москву, по рукам уже ходила рукопись романа. Все ждали его появления в журнале и отдельным изданием, называлась даже фамилия редактора книги и никому не приходило в голову, что вскоре он станет запретным плодом. Готовился к печати новый большой сборник стихов Пастернака. Но в 1957 году роман вышел в Италии, а в 1958 году получил Нобелевскую премию. Позднее осенью Пастернак был исключен из членов Союза писателей. Я его видел в последний раз в самый разгар этих событий. Чаще всего я встречался с ним во время войны и в первые послевоенные годы. Уже был переведен «Гамлет» и заканчивался перевод «Ромео и Джульетты». Он работал над «Антонием и

Клеопатрой». Была написана книжка «На ранних поездках», писались стихи о смерти Марины Цветаевой, стихи из книги «Земной простор» и из романа в прозе, писался роман. Была начата и потом брошена поэма о военных буднях.

В этот период я записывал более-менее подробно разговоры с ним, т. е., конечно, главным образом, то, что говорил он. Несмотря на дальнейшие передеряги моей жизни, записи сохранились. Они являются основным содержанием этих заметок, а все прочие воспоминания должны помочь восстановить реальный фон наших разговоров — обстоятельства времени и места.

В самом конце осени 1941 года я попал в Чистополь, куда была эвакуирована часть Союза писателей. К моему приезду Б.Л. находился там уже несколько недель. Я не застал М.И. Цветаеву: она полувынужденно (трудности с пропиской) уехала дальше по Каме в Елабугу навстречу своему концу.

Маленький обычный провинциальный городок с приездом эвакуированных москвичей и ленинградцев принял своеобразный вид. Особый оттенок придавали ему писатели, которых было вероятно несколько десятков. В модных пальто и велюровых шляпах, они бродили по улицам, заквашенным добротной российской грязью, как по коридорам дома на улице Воровского. Не встречаться два-три раза в день было почти невозможно. Все получали деньги через отделение ВУАП'а, разместившееся на этаже деревянного домика; все обедали в крохотной столовке, напротив райкома; все ходили читать подшивки центральных газет в парткабинет, все брали книги в библиотеке Дома учителя. Здесь были тогда Л. Леонов, К. Федин, Н. Асеев, К. Тренев, В. Шкловский, М. Исаковский, Д. Петровский, А. Дерман, Г. Мунблит, С. Гехт, А. Глебов, А. Явич, Г. Винокур, Г. Гудзий, П. Шубин, С. Галкин, П. Арский, М. Зенкевич, В. Боков, А. Эрлих, А. Письменный, Гуго Гупперт, М. Рудерман, С. Левман, А. Арбузов, А. Лейтес, В. Парнах, М. Петровых, М. До-

брынин, Вс. Багрицкий, И. Нусинов и другие, плюс множество жен писателей. К семьям приезжали А. Фадеев, А. Сурков, С. Липкин, М. Лифшиц, Е. Долматовский и др.

В этом составе писательская колония на берегу Камы просуществовала недолго. Уже в первые месяцы 1942 года все постепенно стали разъезжаться, особенно те, кто был помоложе и предприимчивее. Мы с Арбузовым уехали в середине марта. Немного раньше уехали Павел Шубин, Вс. Багрицкий и др.

Б.Л. в конце 1942 года приезжал в Москву, потом опять вернулся в Чистополь, перезимовал там, а летом 1943 года снова жил в Москве, сначала один без семьи, а затем перевез и семью.

Мой первый разговор с Пастернаком в Чистополе свелся к воспоминаниям нашего знакомства. Не прошло еще и двух лет с гибели Мейерхольда. О подробностях которой долго никто не знал: он просто исчез, как тогда исчезали многие. О судьбе его ходили самые разнообразные слухи, совершенно неверные, как потом оказалось. С этих слухов и начался наш первый разговор, предопределивший тон откровенности и доверия.

Жизнь Б.Л. в Чистополе зимой 1941-1942 года не была «сладкой сайкой». В бытовом отношении ему жилось хуже, чем большинству писателей, не говоря уже о литературных первачах. Некоторые из них снимали целые дома, а он ютился в небольшой и неудобной комнатухе (ул. Володарского, 7). Контраст его быта с бытом, например, Л. или Ф., был поразительный. Л. держал даже специального сторожа, который охранял по ночам с охотничьим ружьем его чемоданы. Он же бочками скупал мед на скудном местном рынке, где цены вскоре стали бешеными. Другой литератор, чтобы не зависеть от привоза на рынок мяса, купил сразу целого быка. Но большинство бедствовало. Я помню новеллиста Г., продававшего на рынке белье жены и, разумеется, по неопытности ничего не выручавшего. На том же рынке поэт А., женатый на сестре

жены Г., привезший большие сбережения и живший припеваючи, бродил с сумкой, скупая за бесценок разные вещи. Поэт и переводчик, в прошлом парижанин, музыкант и танцор, книга стихов которого вышла с иллюстрациями Пикассо, Валентин Парнах, похожий в своей выдавшей виды заграничной шляпе на большого попугая, следил в столовке за пару мисок пустых щей, чтобы входящие плотно прикрывали дверь. Помещение не отапливалось. И вот, приходя в эту столовую, где температура была такая же, как и на улице, и где никто не раздевался, Пастернак обязательно снимал пальто и вешал на гвоздь шляпу. Мало того, он и в столовую брал с собой работу: англо-русский лексикон, миниатюрный томик Шекспира и очередную страничку перевода. Помню еще какие-то длинные листки, на которые он вписывал трудные места. В ожидании порции водянистых щей из капусты (вскоре кончились и они), он работал. Одной из труднейших проблем чистопольского быта были дрова. Все хозяева пускали только квартирантов с дровами. Однажды райисполком выделил писателям несколько кубометров сырых промерзших дров, сложенных далеко на берегу Камы. Подъезда к ним почему-то не было и сначала их нужно было перетаскивать к дороге. Состоятельное меньшинство наняло грузчиков и возчиков, но большинство отправлялись таскать дрова сами. Я работал рядом с Пастернаком. Он не ворчал, а ворочал поленья, если и не с удовольствием, то во всяком случае бодро и весело. А мороз в тот день стоял почти тридцатиградусный.

В комнате, которую снимал Б.Л. с женой, всегда было холодно из-за какого-то нелепого расположения печей. Он жаловался, что у него часто, когда он пишет, зябнут пальцы. Ходить приходилось через кухню общего пользования, где всегда шумело три примуса. Иногда, чтобы температура сравнялась, Б.Л. открывал дверь на кухню. Часто к шуму примусов присоединялись звуки патефона. Набор пластинок был разно-

образный : Утесов, модные танго, хор Пятницкого. Все это несло в комнату, где работал Б.Л. Жены его целыми днями не бывало дома. Зинаида Николаевна служила воспитательницей в Интернате литфондовского детдома, где ей давали обед и ужин. Ужин она приносила домой и делила с Б.Л. И в этих условиях он не унывал. — « Видите, я с утра и до вечера один, но зато могу без помех работать », — бодро сказал мне Б.Л., когда я пришел к нему в первый раз. Он в неудобствах и трудностях быта старался найти хорошую сторону. — « Зато мы здесь ближе к коренным устоям жизни », — часто говорил он. — « Во время этой войны все должны жить так, особенно художники... ».

Я редко встречал таких терпеливых, выносливых, неизбалованных людей, как Пастернак. Простота и скромность жизни, казалось, были его потребностью. В дневнике его соседа по Переделкину, драматурга Афиногенова, есть запись от осени 1937 года, в которой автор дневника удивляется нетребовательному и простому характеру Б.Л. и пишет, что человеку такого духа будет легко везде и даже на тюремных нарах. Как раз в то время Афиногенов напряженно ожидал ареста и он мог говорить об этом с Пастернаком, у которого тоже, конечно, не было никакой гарантии безопасности. А в лагерях никому не было легко, но тяжелее всего бывало людям, привязанным к быту, к комфорту, к мелким уладам и развлечениям. В заключении я часто вспоминал Б.Л. и мне казалось, что и там он был бы внутренне спокоен, весел, приветлив. Я не сравниваю эвакуацию с заключением, но, думаю, что в иных случаях в лагерях было легче. Думаю также, что если бы М. Цветаева попала не в Елабугу, а в лагерь, то она могла бы выжить : уж во всяком случае там скорее она нашла бы дружескую поддержку, среду, тепло товарищества и бескорыстную медицинскую помощь.

Однажды, когда патефон на кухне дребезжал

непрерывно несколько часов, Б.Л. не выдержал, вскочил, вышел и сбивчивыми, слишком длинными фразами, попросил, чтобы ему дали возможность работать. Я слышал о происшедшем только из рассказа самого Б.Л., но, по-видимому, патефон остановили, пробормотав под нос, что-то вроде: «Подумаешь...» Но Пастернак в этот день работать больше не смог. Он ходил из угла в угол, бранился за отсутствие выдержки и терпения, за чрезмерную утонченность и барство, за непростительное самомнение, ставящее свою работу, может быть, никому не нужную, выше потребности в отдыхе этих людей, которые ничем не виноваты, что их не научили любить хорошую музыку и так далее и тому подобное. В тот же вечер на общегородском торжественном собрании в честь Красной Армии, где эвакуированные писатели читали свои произведения, когда пришла очередь Б.Л., он, выйдя на сцену, отказался читать и неожиданно заявил, что не имеет права выступать после того, что произошло утром, что считает своим долгом тут же публично принести свои извинения людям, которые... Городское начальство ничего не поняло, но было недовольно и морщилось, писатели посмеивались, а переполненный зал недоумевал. Помню сконфуженное лицо Федина. Запутавшись и сбившись, Пастернак оборвал речь на полуслове и в отчаянье, что он снова все усложнил и запутал, ушел с собрания. Я догнал его и мы долго бродили среди сугробов. Я догадался, что не нужно комментировать случившееся и заговорил о бродивших в те дни слухах о новых невероятных победах наших армий, о взятии Брянска, Харькова, Полтавы, Киева и Одессы, и о том, почему об этом не сообщается официально.

Поведение и отдельные неловкие поступки Б.Л. часто вызывали смех и улыбки. Во время работы первого съезда писателей, съезд пришла приветствовать делегация метростроевцев. Среди них были девушки в резиновых комбинезонах — своей производственной

одежде. Одна из них держала на плече какой-то тяжелый металлический инструмент. Она встала как раз рядом с сидевшим в президиуме Пастернаком. Он вскочил и стал отнимать у нее этот инструмент. Девушка не отдала — инструмент на плече — это был рассчитанный театральный эффект. Пастернак, не понимая этого, хотел облегчить ее ношу. Наблюдая их борьбу, зал засмеялся. Пастернак смутился и начал свое выступление с объяснений по этому поводу.

Высокий комизм происшествия заключался в том, что тяжелый инструмент на плече у метростроевки лежал не по необходимости, а так сказать во имя некоего обряда — надуманного, и тем самым фальшивого. Он в данном случае был трудовой эмблемой, а Б.Л. своим прямым и естественным зрением этого не заметил, а увидел лишь хрупкую женщину, с усилием держащую какую-то неуклюжую металлическую штуку. Над ним хохотали, сконфуженно улыбался он сам, поняв, наконец, свою оплошность, но по настоящему смеяться следовало над организаторами этого лжетеатрального приветствия.

Своеобразие эпохи было в том, что у всех выработалась привычка к подобным демонстративным и напыщенным изъятиям гражданских чувств. Уже никого не удивляли не только это ненужное пайло на женском плече, но и огромные стихотворные послания от имени целого народа великому вождю, или на протяжении многих месяцев печатаемые в газетах длинные колонки списка его поздравителей ко дню рождения. Еще не так много времени прошло с тех пор, а это уже кажется почти невероятным и странным, а тогда странным казался чудак, не принимавший всерьез этих обрядов почитания.

Неверно считать, как об этом писал один молодой мемуарист, что Пастернак «играл» свои странности. Это могло казаться тем, кто разучился всегда и при всех обстоятельствах быть самим собой, что, разумеется, нередко выглядит «смешно», в среде притвор-

щиков и людей, закованных в бытовые условности. Прямодушие и честность дипломатам и хитрецам всегда кажутся наивностью, граничащей с глупостью. Подобных «глупостей» множество в жизни Пастернака. Но это те «глупости», которые имел в виду Анатолий Франс, говоря, что их редко делают дураки, а гораздо чаще очень умные люди.

Когда летом 1934 года к Пастернаку неожиданно позвонил Сталин и спросил его мнение об арестованном О. Мандельштаме, то разговор этот кончился тем, что Сталин на полуслове повесил трубку и Б.Л. после этого долго был в отчаянии, упрекая себя, что он не сумел сказать что-то самое веское для облегчения участи Мандельштама и рассердил великого вождя неуместной фамильярностью. По словам Н.Я. Мандельштам, вдовы поэта: — «Б.Л. разговаривал со своим собеседником, как он разговаривал со всеми людьми — со мной, с Анной Андреевной, с кем угодно. И именно поэтому что-то было здорово сказано — неожиданно и точно до предела. И мы все трое — А.А., О.Э. и я — очень это оценили». (Из письма Н.Я. Мандельштам). И весь ход этого разговора был тоже с какой-то сугубо практической точки зрения — величайшей наивностью (Б.Л. мало помог Мандельштаму и испортил отношения к себе), но и тут тоже он остался самим собой, естественнейшим из людей.

Дальше пойдет мой чистопольский дневник: вернее — отдельные записи из него, связанные с Б.Л. Пастернаком, встречах и разговорам с ним. Они делались по горячим следам в маленьких книжках клетчатой бумаги в черных коленкорových переплетах. Привожу их почти без сокращений.

2.

Чистополь. Ноябрь 1941 года

Столовка Литфонда на углу улиц Толстого и Володарского. Выход прямо с улицы без тамбура. Дверь все время открывается и закрывается, люди входят и уходят, сидят, стоят, оживленно разговаривая о фронтовых сводках, о том, суровая ли зима ожидается и о том, не переехать ли, пока не поздно в Ташкент, когда встанет окончательно Кама, где достать дров и разрешение горсовета на яркую лампочку. И только один Валентин Парнах, маленький, с несчастным, как бы застывшим лицом, с поднятым воротником помятого когда-то щегольского пальто, в коричневой парижской шляпе, одиноко сидит здесь с утра до часа, когда столовая закрывается, ни с кем не разговаривая. Угловатый, в кожаном пальто, с красным шарфом, с лицом, протравленным жесткими морщинами, с седыми, словно спутанными волосами и дикими глазами, все времядвигающийся, то входящий, то уходящий, чтобы сразу же вернуться обратно, Дмитрий Петровский ловкий, грациозно-полноватый, любопытно-иро-

ничный, но чуть неуверенный и как бы ко всему присматривающийся Виктор Борисович Шкловский, разговаривающий со всеми, но думающий что-то свое. Леонид Леонов с усами, ставший похожим на иностранца. Спокойный, бодрый, вечно чем-то занятый Глебов. Маленький, похожий на щуку Асеев. Провинциально-барски актерствующий и позирующий своей трубкой Федин. Но и в нем чувствуется какая-то фальшивка или отсутствие уверенности. Рассудительный, здорово-прозаичный Письменный. Нервный быстрый Гехт. Уныло-скучнейший, с вечной капелькой на носу, Михаил Рудерман. Глухо кашляющий, зеленый, похожий на большую птицу, Мунблит. Бледный вежливый Эрлих. Всеми удивляющийся Гуго Гупперт. Умный, молчаливый Г. Винокур. Красавец С. Галкин. Кряжистый, как дуб, старый правдист Павел Арский. Всегда насупленный, неприветливый Тренев. И многие другие. И среди них каким-то веселым контрастом — ладный, благожелательный, доверчивый, занятый собой и своей работой Борис Леонидович Пастернак.

15 ноября.

Сегодня днем на площади у райкома меня остановил Б.Л. Я уже несколько раз встречал его и кланялся. Он отвечал, но, как выяснилось, забыв, где и как мы познакомились :

— Послушайте, ваше лицо мне удивительно знакомо...

— Да, мы встречались с вами, Борис Леонидович.

— Но где, где ?

Я напоминаю об обеде у Мейерхольда.

— Да, да, вспомнил ! — восклицает он. — Конечно, да, да, отлично помню...

Мы говорили недолго о Мейерхольде. Лицо его омрачается. Потом он спрашивает меня, как я оказался в Чистополе и пр.

Он в черной шубе и черной каракулевой шапке.

В волосах уже заметна проседь, но еще ее мало. Пожалуй, он моложав для своего возраста.

Я проводил его по улице Володарского. Он живет в самом конце ее, напротив городского сада. Прекрасный зимний русский денек.

Все литераторы, оказавшиеся здесь, единодушно бранят Чистополь, но Б.Л. говорит, что ему тут нравится. Он зовет меня зайти к себе, но я спешу домой и мы уславливаемся специально повидаться на будущей неделе. Он кажется бодрым и ничуть не растерянным, как большинство. Узнаю от него, что Шкловский вчера уехал в Алма-Ату. Кама еще не встала окончательно, но пароходы уже не ходят, четыре дня нет почты.

1 декабря.

В Доме учителя первое собрание секции поэтов. Как автор стихотворной пьесы приглашен и я, хотя формально я еще не член Союза писателей.

Три часа пустой болтовни ни о чем. Пастернак не пришел. Были Асеев, Зенкевич, Обрадович, Колычев, Рудерман, Д. Петровский, П. Шубин, В. Боков, Г. Гупперт, П. Арский, В. Бугаевский и кто-то еще. В каком-то смысле я — герой дня. Неделю назад сюда пришел номер «Известий» от 16 ноября с корреспонденцией «В театрах Ленинграда», где говорится, что в театре Комедии большим успехом у зрителя пользуется пьеса А. Гладкова «Питомцы славы». Все тут ощущают себя, как рыба на песке, потерявшими связи с издательствами, редакциями, ненужными и забытыми и то, что у живого чистопольца где-то состоялась премьера, привлекает общее внимание. Встреченный на днях Б.Л. Пастернак тоже поздравил меня с этим. Он со мной был очень приветлив и каждый раз, расставшись с ним после краткой случайной встречи, я себя браню за то, что не продлил разговора с ним.

10 декабря.

Прихожу в столовую. Холодно, но Б.Л. сидит без пальто, положив его на соседний стул. Увидев меня, зовет сесть за свой столик, но извиняется, что он будет заниматься и за едой. Справа от тарелки остывших пустых щей лежат перед ним четыре маленьких листика бумаги. Он то ест, то просматривает их, что-то исправляя. Среди унылых, бездельничающих, сидящих здесь в шубах прочих литераторов, он, чьи мысли прежде всего в своей работе, как белая ворона.

17 декабря.

Сегодня Федин читал в Доме учителя воспоминания о Горьком. Перед началом Пастернак суетился, усаживая поудобнее свою жену. У нее почему-то обиженное лицо. Он то сажает ее к печке, то пересаживает, чтобы не было жарко: удивительно внимателен и откровенно нежен. Небольшая комната тесно набита местной элитой. Чуть запоздало (наверно обдуманно) приходит барственный Федин с щегольским бюваром. Он достает из него отлично напечатанную на превосходной бумаге рукопись, сброшюрованную алой ленточкой. Просит принести воды. Первым срывается с места Пастернак, но кто-то его опережает. Когда появляются графин и стакан, Федин расставляет все это симметрично на столе, и начинает читать, не торопясь и очень по-актерски изображая окаяющую речь Горького в диалогах. Наверно это хорошо, но как-то слишком отделано. Смешные места он педалирует и первым смеется. Пастернак, обводит взглядом, как бы приглашая разделить его восторг. Слушатель он благодарнейший, с постоянной готовностью рассмеяться, восхититься, просмаковать. В перерыве говорю с ним. Он в восторженном состоянии. В этой доброжелательности есть что-то старомодное, рыцарское и ничуть не подбострастное. В нем совершенно нет той заботы о со-

хранении позы достоинства, которая так присуща остальным и даже мой приятель Арбузов рядом с ним кажется куда более маститым и самодовольным.

Смотрю, как слушает. Большинство сдержанны и самоуважительно вежливы. Только у Б.Л. какое-то мальчишески восторженное выражение лица. Может быть оно кажется юным от выпавшего среднего зуба.

Он улыбается и что-то бормочет. Некрасивая дочь Федина Нина почтительно смотрит на папу. Финансовый магнат Хесина развалился на диване и слушает снисходительно, свысока. Рудерману очень хочется, чтобы скорее объявили перерыв. Он то и дело вынимает и снова прячет кисет с самосадом. Тренев хмур и рассеян. Дерман хитро улыбается, словно он на чем-то поймал автора. У Эрлиха непроницаемое лицо. Гехт моргает и щурится. Федин изредка с равными промежутками отпивает из стакана воду. Все очень пристойно, литературно, солидно.

В перерыве Б.Л. просит меня дать ему прочесть мою пьесу. Я говорю — хорошо — еще не решив, что сделаю это. Меня останавливает, что с его стороны просьба эта — обычная любезность. Кроме того, мне трудно представить, что мои стихи будет читать Пастернак.

18 декабря.

Снова обедаю с Б.Л. в столовой Литфонда. Рисовый суп очень жидкий и почти несъедобное рагу и из чего-то, что здесь называется условно бараниной. Б.Л. с аппетитом грызет горбушку черного хелба. Говорим о военных и политических новостях. Я рассказываю о бесчинствах немцев в Ясной Поляне (слышал утром по радио). Он ужасается, недоумевает и почти не верит.

20 декабря.

Морозный денек, наши части заняли Рузу, Тарусу, Халино. Так говорится в утренней сводке. В то время, как в помещении ВУАП'а наши пикейные жилеты и домашние стратеги, дымя махоркой, обсуждают эти события и совместно планируют следующие удары (Леонов, Лейтес, Левман, Дерман, Мунблит, Гупперт и др.), приходит бодрый, покрасневшийся с мороза Пастернак и, поздоровавшись со всеми, проходит к Хесину, на ходу напоминает мне, что я обещал принести ему пьесу. Сговариваемся на послезавтра.

22 декабря.

Днем захожу к Пастернаку. Он живет в небольшой комнатке, ход в которую через кухню, где кажется вечно шумно и грязно. На столе словари, томик Шекспира и книга Гюго о Шекспире на французском языке. Когда я беру ее в руки, Б.Л. начинает ее хвалить и жалеет, что она мне недоступна. У меня тут всего один экземпляр пьесы с массой опечаток, сделанных при перепечатывании ее в Отделе распространения, выправленных мною расплывшимися на скверной бумаге чернилами, но Б.Л. это не смущает. Он только спрашивает, можно ли ему не торопиться и читать понемножку, так как «я терпеть не могу читать залпом».

На обратном пути захожу в ВУАП. Т. Хесин сообщает мне, что под вечер из Казани будет звонить консультант Комитета искусств Г.Г. Штайн, который просил вызвать к телефону меня, Пастернака и Глебова. Я берусь передать это Пастернаку и возвращаюсь к нему. Вхожу со страхом, что он прочитал первые страницы пьесы и сейчас вернет мне ее обратно, но, счастье! — рукопись лежит на том же месте, куда я ее положил, а он сидит и работает.

Вечером снова встречаюсь с Б.Л., в Райкоме, куда

должен последовать звонок Штайна. Кроме Глебова и Пастернака приходит еще Д. Петровский. Ждем звонка часа два. Пастернак, Глебов и я болтаем, а Петровский сидит нахохлившись. Первым зовут к телефону меня. Приятные новости о том, что пьеса принята к изданию и что Театр Революции все-таки будет ставить ее в Ташкенте. Я рассказываю Штайну о нашей новой, совместной с Арбузовым, пьесе. Пастернак просит меня подождать его. Он говорит со Штайном о каких-то расчетах по переводам и жалуется на безденежье. После разговора он становится нервен и почти уныл, что ему так не свойственно. Я провожаю его и мы снова сидим у него. З.Н. на дежурстве в детском интернате Литфонда. Он рассказывает, что на днях кончил перевод «Ромео и Джульетты», но сам не очень высоко оценивает эту работу. Сожалеет, что война опрокинула все планы постановки его любимого перевода «Гамлета». От него я собираюсь в Дом учителя на концерт пианистки Лойтер. Ему не хочется оставаться одному и он идет со мной.

На концерте, в скудноосвещенном маленькой керосиновой лампой зале, все сидят в шубах и шапках. Пастернак собирается раздеться и я почти насильно заставляю его не делать этого — холодище адский. Лойтер играет Баха, Бетховена, Листа, Чайковского. Пастернак слушает удивительно. Вместе со всеми аплодирует, потом идет за кулисы и целует руку пианистке, маленькой, некрасивой еврейке в круглых очках и трех шерстяных кофточках. Провожая его к дому. Целый день с Пастернаком.

25 декабря.

Днем встретил в столовой Б.Л. Он зовет меня сесть за свой стол. Едим постные щи, к которым дается 222 грамма черного хлеба. Второго нет. После обеда он зовет прогуляться: сегодня теплее. Идем мимо собора к Каме и направо к затону.

Разговор о многом. Сначала об его «Гамлете». Он удручен неудачей с постановкой. Он ставит эту работу, пожалуй, слишком высоко по сравнению с другими, даже оригинальными своими произведениями. Жаловался на то, что чем серьезнее переводческая работа, тем меньше шансов, что она может как-то обеспечить. — «Шекспир, поверьте, мне ничего не дает, а грузинские поэты могут обеспечить на год-полтора...» Говорим о том, что может быть после войны. Он представляет Сталина, как нового Скалозуба, который построит нас в шеренгу и станет командовать еще круче. — «Если после войны останется все по-прежнему, я могу оказаться где-нибудь на севере среди многих своих старых друзей, потому что больше не сумею быть не самим собой...»

Он прочитал два акта «Давным-давно» и говорит, что они веселы, живы и изящны, но, пожалуй, слишком «густо написаны»...

— Не чересчур ли вы увлеклись фондом и колоритом?

Впрочем, он оговаривается, что это только самые первые, предварительные замечания, а настоящий разговор о пьесе у нас будет позднее, когда он прочтет все 4 акта.

Б.Л. спрашивает о моих дальнейших замыслах. Ему очень понравилась мысль написать героическую драму о Петефи. Он сам недавно переводил его стихи и с интересом прочитал его биографию. Интересно говорит о «цыганском, буйном духе» его поэзии. Дал совет прочесть для пьесы статью Ф. Листа о цыганских мотивах в венгерской музыке и, как следует, познакомиться с Н. Ленау (я признался, что плохо его знаю). Если бы я сумел достать здесь томик Ленау по-немецки, то он охотно переводил бы мне его прямо с листа... Потом говорили о М. Цветаевой. Выслушав мою восторженную оценку «Конца Казановы», он с огорчением говорит, что не читал эту пьесу, или «непростительно забыл». Говорим об ее смерти в Елабуге: «вон

где-то там» — и он показывает рукой вверх по Каме. Снова об его переводе «Ромео и Джульетты», о переводе, как искусстве и о переводах Луначарского, которые лучше, чем можно было ожидать (в частности, переводы Петефи), и снова о «Гамлете». Опять он сетует на МХАТ за то, что он отказался от постановки и рассказывает анекдот о Ливанове в Кремле. Говорим и еще о многом...

— Гений не что иное, как редчайший и крупнейший представитель породы обыкновенных, рядовых людей времени, ее бессмертное выражение. Гений ближе к этому обыкновенному человеку, сродни ему, чем разновидности людей, составляющих толпу около литературной богемы. Гений — это количественный полюс качественно однородного человечества. Дистанция между гением и обыкновенным человеком воображаема, вернее ее нет. Но в эту воображаемую и несуществующую дистанцию набивается много «интересных» людей, выдумавших длинные волосы и бархатные куртки. Они-то (если допустить, что они исторически существуют), и есть явление посредственности. Если гений кому и противостоит, то не толпе, а этой среде, так часто являющейся его непрошенной свитой. Нет обыкновенного человека, который в зачатке не был бы гениален.

— Наверно я удивлю вас, если скажу, что предпочитаю Демьяна Бедного большинству советских поэтов. Он не только историческая фигура революции в ее драматические периоды, эпоху фронтов и военного коммунизма, он для меня Ганс Сакс нашего народного движения. Он без остатка растворяется в естественности своего призвания, чего нельзя сказать, например, о Маяковском, для которого это было только точкой приложения части его сил. На такие явления, как Демьян Бедный, нужно смотреть не под углом зрения эстетической техники, а под углом истории. Мне совершенно безразличны отдельные слагаемые цельной формы, если только эта последняя — первична и

истинна, если между авторами и выражением, не за-тесываются промежуточные звенья подражательства, ложной необычности, дурного вкуса, т. е. вкуса посредственности — так, как я ее понимаю. Мне глубоко безразлично чем движется страсть, являющаяся источником крупного участия в жизни, лишь бы это участие было налицо...

— Вспоминая формулу Маяковского, в общем верную, но неверно понятую, хочу сказать, что нам не нужно несколько Маяковских или нескольких Демьянов Бедных. Поэт явление по существу своему единичное и только в этой единичной подлинности ценное. Асеев, настоящий поэт, принес свое дарование в жертву своей преданности Маяковскому. Но эта жертва, как и может быть вообще все жертвы всегда, ложная... Для созревания Пушкина были нужны и Дельвиг и Туманский, и Козлов, и Богданович, но нам достаточно одного Пушкина с Баратынским. Поэзия — явление коллективное, ибо оно замещает своей индивидуальностью, безмерно разросшейся, многих поэтов и только до появления такого поэта нужны многие поэты.

— Я часто недоумевал перед легкостью, с которой отличают хорошие стихи от плохих, словно это сделанные по стандарту части какой-то машины. То, что обычно считают плохими стихами, вовсе и не стихи. Я часто возвращаюсь к мысли, что плохих и хороших стихов не существует, а существуют плохие и хорошие поэты, т. е. отдельная строка существует только в системе мышления творчески производительного, или крутящегося вхолостую. Одна и та же строка может быть признана хорошей или плохой, в зависимости от того, в какой поэтической системе она находится....

— Поэт должен иметь мужество, меняя круг тем и материалы, идти на то, чтобы временно писать, как бы плохо. То есть не плохо «вообще», а плохо со своей прежней точки зрения. Так я писал после своей

книги « Второе рождение ». Я шел на это сознательно, иначе мне было бы не одолеть пространства, разряженного публицистикой и отвлеченностями, мало разного и неконкретного...

— Первый признак одаренности — смелость. Смелость не на эстраде, или в редакторском кабинете, а перед белым листом бумаги...

— Плохой вкус куда хуже откровенной безвкусицы...

— Меня сейчас влечет к себе в поэзии точность, сила и внутренняя сдержанность, прячущая все неостывшее и еще дымящееся личное, все невымышленное реальное и частное в знакомую всем общность выражения. Я мечтал о стиле, который я бы назвал незаметным, о простоте, похожей на лепет, о задушевности, близкой к материнскому баюканью...

29 декабря.

Письмо из Свердловска от Бояджиева. Центральный театр Красной Армии ставит « Давным-давно ». Музыку будет писать Тихон Хренников. Бояджиев просил сообщить, есть ли ошибки в экземплярах отдела распространения и прислать поправки. Мне не остается ничего другого, как пойти к Пастернаку за моим единственным экземпляром, чтобы снять копию с поправок. Застаю его за работой. Сбивчиво рассказываю ему все. Он поздравляет и отдает мне экземпляр пьесы, взяв слово, что я верну его ему, как только он мне будет ненужен.

« Как хорошо, что хоть вам везет », — говорит он и сразу просит извинение за « необдуманное » и вырвавшееся слово « везет »... « Оно неуместно, ибо все это вами с лихвой заслужено... » И он опять хвалит пьесу.

Снова долгая прогулка с Б.Л. Он слегка простужен: у него прострел в спине, обычный для него длинный, захлебывающийся монолог. Сегодня радио сообщило прекрасные новости: наш десант занял Керчь и Феодосию. Сначала говорим об этом, потом о войне вообще. Б.Л. рассказывает, что все месяцы войны в Переделкине и в Москве до отъезда и первое время здесь у него было отличное настроение, потому что события поставили его в общий ряд, он стал «как все» — дежурил в Лаврушинском на крыше и спал на даче возле зениток и все это было далеко от «Советского правительства». Ему казалось, что всеобщее бегство и паника отсеют от литературы чиновников и «отцов командиров», но, кажется, это не так... — Я не оценил их способности к приспособлению и феноменальной живучести... — При прощании, он пожелал мне в наступающем новом году: «Всего того, о чем мы так много говорили между собой и еще больше молчим»... Я зову его встречать новый год с нашей компанией. Он сначала как будто даже обрадовался, сказал, что будет этот вечер дома один, так как З.Н. на вечере в детском интернате и даже спросил адрес Сони и Анели, но потом вспомнил про свой прострел и решил, что, пожалуй, лучше он посидит дома. Странный штрих: он не знал, что Крым уже занят немцами и удивился, когда я ему это сказал.

— Будущее — это худшая из всех абстракций. Будущее никогда не приходит, каким его ждешь. Не вернее ли сказать, что оно вообще никогда не приходит? Если ждешь А., а приходит Б., то можно ли сказать, что пришло то, чего ждал. Все, что реально существует, существует в рамках настоящего. Наше ощущение прошлого тоже дано нам в настоящем. Собственно говоря, это тоже абстракция, но все же менее условная, чем будущее.

— Человеку одинаково нужны и разум и смута,

и покой и тревога. Оставьте ему только разум и покой, он будет скучнеть, вянуть, спать. Дайте ему смуту и тревогу — он потеряет себя и свой мир. Поэт — это крайний человек. Он ищет разум в смуте и в покое тревогу, в разуме — смуту, в тревоге — покой. Потребность искать во всяком явлении его противоположный полюс, свойственная каждому, как почти каждому свойствен зачаток дара поэзии.

Вечером, перед тем, как идти в нашу компанию, захожу на минутку к нему, чтобы еще раз предложить ему участвовать во встрече нового года. Он лежит в постели с книжкой Гюго. На столе маленькая лампочка. Так встречает новый год Пастернак. А у Л. и Ф. готовят уже несколько дней и закуплены всяческие разносолы. Видно, им и не пришлось в голову его пригласить. Он снова отказывается идти и еще раз поздравляет меня.

2 января 1942 года.

30-градусные морозы с ветрами. Сегодня встретил Федина, который мне сказал, что чистопольскому филиалу правления союза писателей предоставлено право принятия в члены ССП с последующим утверждением официальным секретариатом в Казани, и что Б.Л. советовал ему предложить мне подать заявление.

— Ваша пьеса идет везде и просто неприлично, что вы не член союза. Борис Леонидович ее очень хвалил...

Я тут же, на краешке стола Хесина в ВУАП'е пишу заявление и краткую автобиографию.

Федин просит дать пьесу прочитать Треневу, а тот сразу передаст ее Леонову и ему.

А я то уже хотел снова нести экземпляр Б.Л. Делать нечего: отношу Треневу. Он встречает меня довольно хмуро и, отдав рукописи, я уже жалею, что сделал это.

9 января.

Узнал, что на последнем заседании правления ССП (в понедельник 5-го) я был принят в члены союза. Мою пьесу прочли Тренев и Леонов. На заседании присутствовали: Федин, Леонов, Исаковский, Тренев, Асеев, Пастернак, Добрынин. Обо мне горячо хвалебно говорил Б.Л. и, неожиданно, Тренев. Леонов тоже хвалил пьесу. Приняли единогласно. Это решение еще будет утверждаться в Казани секретариатом союза (Бахметьев, Аплетин и др.). Впрочем, персональный состав собрания, принимавшего меня своей бесспорной авторитетностью, предreshает окончательное постановление. Первый порыв — пойти к Б.Л. поблагодарить его, но, удерживаюсь. Не хочется показаться навязчивым.

16 января.

Встретил на лестнице в управлении Б.Л. Поздоровавшись, он спросил: почему я так похудел? «Я болел, да и живем мы сейчас весьма худо», — и прибавил, что на днях у него ко мне будет большой разговор. Эти дни все веселы: на фронтах хорошо.

19 января.

Встречаю в ВУАП'е Б.Л. Говорим о дровах и о том, как их привезти. Стоят страшные морозы, а дрова в затоне. Я объясняю ему технику получения литфондовых дров. Выслушав меня, Б.Л. говорит: — Простите, я ничего не понял. Скажите еще раз. Я в некоторых отношениях бестолково повторяю. Приглашает заходить.

Иду днем к Б.Л. Последние дни стояли невиданные здесь морозы, 21-го и 22-го в Чистополе было 53 градуса ниже нуля, а в затоне — 58. Б.Л. сидит за столом, накинув на плечи пальто — у него дома холодно. Я извиняюсь, что помешал работать, но он говорит, что сидел и читал и рад, что я зашел...

— Вы не читаете по-французски? Ах, да, я вас уже спрашивал... Я хотел поделиться с вами наслаждением, которое я получаю от чтения книги Гюго о Шекспире. Я читаю ее понемногу. Она возбуждает столько мыслей, что большими порциями читать ее просто невозможно. Это сокровищница мыслей и не только о Шекспире, но и об искусстве вообще. Читая ее чувствуешь себя мальчиком... Не могу удержаться, чтобы не показать вам кое-что... (Он читает, тут же сразу переводя текст).

«Дать каждой вещи столько пространства, сколько ей нужно, ни больше, ни меньше — вот, что такое простота в искусстве. Простота — это справедливость. Таков закон истинного вкуса. Каждая вещь должна быть поставлена на свое место и выражена своим словом. При том единственном условии, что будет существовать некое скрытое равновесие и сохраняется некая таинственная пропорция, самая величайшая сложность будь то в стиле, или композиции, может быть простотой...»

Б.Л. останавливается и с торжеством глядит на меня, как бы предлагая разделить свое восхищение. Я хочу что-то сказать, но он меня прерывает:

— Нет, подождите, это еще не все. Вот, слушайте... «Простота поэзии подобна ветвистому дубу. Разве дуб производит на нас впечатление чего-то византийского или утонченного? Его бесчисленные антитезы: гигантский ствол и крошечные листья, твердая кора и бархатистый мох, свет, выпиваемый им и отбрасываемая им тень, ветви, венчающие героев и плоды, питающие

свиней, — неужели это признаки надуманности, манерности и плохого вкуса? Не слишком ли дуб остроумен? Быть может он смешной жеманник? Страдает гонором и важностью? Или принадлежит к упадочной школе? Неужели простотой имеет право называться лишь кочан капусты?»

Остановившись и передохнув, Б.Л. продолжает:

«У Шекспира нет сдержанности, нет уверенности, нет границ, нет умолчаний. Что же у него есть? У него есть все. У него отсутствует только отсутствие. Он ничего не бережет про запас. Он не постится. Он не знает преград, как буйная поросль, как набухшие семена, как утренний рассвет, как пламя. Если вам холодно, вы можете погреть руки у этого пожара. Он отдается, он раздает себя, он щедро наделяет собой и все-таки не исчерпывается. Он просто не может быть опустошенным. В нем есть все и нет одного — дна. Он наполняет себя и растрчивает, он разбрасывает себя пригоршнями и лопатами и опять начинает с начала. Это какая-то дырявая корзина духа из волшебной сказки...» «В глубине его смятения — спокойствие, потому что его смятение — это человечность...»

— Вы знаете, с тех пор, как я работаю над переводами Шекспира, мне хочется написать что-то о нем. Нет, вернее, мне хотелось, пока я не прочел эту книгу Гюго. Теперь я просто не смею. Подумайте, только она у нас не переведена... Нет, послушайте еще. Я вам не надоел? Ну, хорошо...

«Гамлет прикидывается помешанным не для того, чтобы ему было удобнее выносить план мести, а для того, чтобы не быть убитым. Поэт в то же время прекрасный историк, знающий нравы этих зловещих королевств. В те времена горе было тому, кто узнавал про преступление, совершенное королем. Вольтер предполагает, что Овидий был сослан из Рима за то, что знал что-то страшное про Августа. Знать, что король убийца, само по себе было государственным

преступлением. Человек, подозреваемый в подозрении, мог считать себя погибшим».

Б.Л. читает характеристику Макбета. Я рассказываю ему, как однажды в разговоре о процессах 1936-1938 гг. В.Э. Мейерхольд сказал: — Читайте и перечитывайте «Макбета»!... Б.Л. охает, замолкает, потом говорит: «Нет, не будем об этом. Это слишком страшно» (помолчав). — «Вот видите, какой живой этот великий Шекспир. Он вам внушает ассоциации, от которых страшно»...

Он пересказывает наблюдение Гюго о «двойном действии» Шекспира.

Говорим о его переводах. Его отношение к ним — образец того, как должен относиться писатель к вынужденно-необходимой, хотя и не основной своей работе: взявшись за них, он заставил себя этим искренне увлечься.

28 января.

Очередная «литературная среда» в Доме учителя. Асеев читает отрывки из новой поэмы, еще не законченной им, и новые лирические стихи.

Все мелкогато и фразеристо, кроме двух безделушек: о стрекозе на стволе винтовки и «Разговора с другом». Но присутствующие единодушно восхищаются, кто от доброжелательности (как Пастернак), кто от плохого вкуса (Арский, В. Боков, Никитин и др.). Пастернак произносит длинную речь об искусстве, записать которую даже тезисно, почти невозможно. Она вся состоит из тончайших парадоксов. Это фейерверк блестящих мыслей, логически друг с другом мало связанных. Очень хорошо это все им произносится, с каким-то юношеским запалом, с милым добродушием. Б.Л. председательствует на собрании. Писательских жен сегодня почему-то больше, чем самих писателей и он заботится, чтобы все хорошо сидели, сам бегаёт за стульями в читальню, рассаживает. В комнате

холодно, но он раздевается, подавая тем пример. Перед началом несколько раз подходит к З.Н., которая, кутаясь, сидит у железной печки, и очень нежно, тихо о чем-то ее упрасивает, ласково называя « кисой ». Во время чтения Асеева, он улыбается, восхищенно качает головой, тихо (но достаточно внятно) говорит : « Очень хорошо ! » « Прекрасно ! », — и вообще ведет себя изумительно изящно, артистически-гостеприимно. Смотрю на него с наслаждением. Он сам в тысячу раз прекраснее асеевских стихов. Он красив и легок. Вот уж поэт в подлинном смысле слова. Речь его и реплики — бесконечное содержание, сложное, ибо это почти стенограмма мыслей...

— Главный дар поэта — его воображение. Богатое, бурное, стремительное воображение — именно этим отличались Маяковский и Есенин от множества отлично владевших словом не-поэтов. Именно воображение дает поэту свободу и ту смелость и отвагу, без которой нет побед в поэзии...

— Никто не может подарить мне свободу, если я не обладаю ею в зародыше, сам в себе. Ничего нет более ложного, чем внешняя свобода при отсутствии свободы внутренней. Житель какого-нибудь Чикаго, пережевывающий то, что дает ему ежедневная газета, или радиоприемник, менее свободен по существу, чем философ в одиночной тюремной камере...

— Самопознание не есть задача с готовым ответом. Надо идти на риск. Душевный риск — профессиональный долг поэта, вернее — это поле деятельности, то же, что высота для верхолаза, мина для сапера, глубина для водолаза...

Быть самим собой в искусстве нужно лишь в той единственной мере, в какой ты не можешь им не быть. Об этом нужно заботиться так же, как о том, чтобы у тебя росли ногти. Пример неудачный, но постарайтесь меня понять. Самим собой рождаются, потом себя теряют и всю жизнь мучительно возвращаются к тому, чем ты уже был. Надо ставить себе задачи выше своих

сил, во-первых, потому, что силы и появляются по мере выполнения кажущейся недостижимой задачи.

2 февраля.

Б. Л. в разговоре о войне замолкает, делается рассеян, о чем-то думает, потом вдруг неожиданно спрашивает: Нет ли у меня на два-три дня взаймы 15 рублей? К счастью, у меня есть. Он берет, благодарит, потом порывисто снова вынимает бумажник из кармана, достает деньги и протягивает их обратно:

— Нет, не могу взять у вас. Вы не Погодин.

— Так вы же берете не полторы тысячи, а пятнадцать рублей.

— Да, конечно, но... (Он колеблется). Видите ли, у меня сейчас такой заворот с деньгами... Ну, хорошо, я возьму... Впрочем, нет. Вы бедняк и вам самому нужны. Да?

— Да, нет же, Б. Л., я обойдусь.

— Нет, нет, я знаю, слышал, вы живете не как Федин и Леонов.

— Но у них вы и не просите. А мы в этом равны и взять у меня естественно.

— Ну, хорошо, я возьму. Мне очень нужно. Как это глупо: просить 15 рублей. Спасибо!

Мы оба сконфуженно и преглупо себя чувствуем.

Л. М. Леонов сказал мне когда-то, что он считает высшим достижением мировой литературы «Капитанскую дочку» Пушкина. Меня это поразило и больше всего тем, что это никак не выразилось в его собственном творчестве. Недоумевая, я рассказал об этом Б. Л.

— Нет, нет, я его очень хорошо понимаю. Нельзя подражать тому, что больше всего любишь. Но это замечательное признание. Вы правы, сначала кажется действительно странно: не Достоевский, не Лесков, а Пушкин и даже «Капитанская дочка». Но оно раскрывает Леонова: ведь это его противоположный полюс, а мы всегда к нему духовно стремимся. Первой

любовью Леонова наверно был Достоевский. Пушкин это его внутренняя зрелость, но на бумаге он далек от нее.

Мне странно, что Б.Л. почти не читает газет. Нет, он вовсе не равнодушен к тому, что происходит на фронтах войны, он радуется хорошим известиям, которые стали так часты в последнее время. Но он не ходит читать подшивки в парткабинет и не торопится к тарелке репродуктора в час «Последних известий».

— Главное, я все равно узнаю. Вот, вы, например, мне рассказываете... Сейчас мир устроен так, что приходится экономить свое усвоение информации, иначе она вас оглушит и забудет.

Жизнь делается призрачной, когда с утра не работаешь, а ищешь новостей, когда живешь отзвуком где-то происходящего... Нет, нет, я вовсе не говорю, что это плохо. Может, кому-то это и нужно, но я так не могу. Я должен каждый день работать, иначе я стыжусь самого себя.

Он замечательный труженик, но, работая, он не кажется выполняющим какой-то суровый, но необходимый долг: он работает, как другие отдыхают. Он работает, потому что это нужно, но также и потому, что это доставляет ему удовольствие. Второе, пожалуй, на первом месте. От императива: «нужно» — только выбор работы. Сейчас он переводит «Ромео и Джульетту» и может в часы безделья и на прогулках бесконечно говорить о Шекспире. Ему все интересно в нем. Сомнение в авторстве актера «Глобус» кажется ему смехотворным. Он в связи с этим говорит о чуде развития художника — гения, о свойстве, которое Гете называл «антиципацией», т. е. о способности художника знать и то, чего не было в его личном опыте.

Доказательством подлинности шекспировского авторитета он видит в небрежностях и самоповторениях в его пьесах. «Подделки создаются всегда более тщательно, чем подлинное». Он говорит о несомненном даре импровизации Шекспира, подчинявшем своим

поэтическим взлетом условные и часто заимствованные планы пьес. «Я, пристально вглядываясь в текст Шекспира, прошел сквозь два его шедевра и утверждаю, — это не скомпилировано, а написано одним человеком, дыхание которого почти слышишь... Интересное наблюдение: Б.Л. утверждает, что Шекспир легче импровизировал стихами, чем писал прозой. Он даже думает, что Шекспир сначала набрасывал стихами и те сцены, которые потом переписывал прозой. О своеобразном составе общего высшего гуманитарного образования, а тогда первая ступень знаний была латынь. «Тогда мальчишки с лету узнавали латынь и мифологию, как наши подростки узнают устройство автомобильного мотора». «Шекспир писал всегда наспех и вряд ли перечитывал после того, как пьеса сходилась с репертуара. Он забывал написанное и знал себя хуже, чем знает его любой современный диссертант».

4 февраля.

На очередной «литературной среде» в Доме учителя должен быть вечер переводов молодого поэта Якова Кейхауза. Мороз и метель. Кроме автора приходит только старик Павел Арский, Гуго Гупперт и я. Кейхауз, скверно одетый, чахоточный, высокий малый с ассирийского вида бородкой и тонкой шеей, замотанной в зеленый шарф. Пока решаем, что делать и не перенести ли вечер, появляется оживленный и румяный с мороза, доброжелательный и приветливый Б.Л. и красноречиво просит прощение за опоздание, и Кейхауз заявляет, что он готов читать для собравшихся.

Он читает «Остров Бомини» Гейне и несколько очень хороших переводов из «Исторического цикла» Киплинга. Б.Л. слушает с видимым удовольствием и просит повторить довольно длинную поэму «Остров Бомини». Кейхауз розовеет от счастья. Б.Л. слушает,

улыбаясь, и после очень хвалит перевод. Он просит прочесть какие-нибудь оригинальные стихи. Кейхауз, извинившись за мрачность своих тем, читает вступление и несколько отрывков из поэмы «Ночь в одиночке», посвященной 16 октября в Москве, эвакуации, войне. Потом читает три стихотворения о сыне, второе из которых Б.Л. очень хвалит и тоже просит повторить. Он говорит, что ему нравятся стихи Кейхауза за то, что они существуют не «по инерции ритмической, подражательной или словесной, а как акты познания мира». Бедняга поэт на седьмом небе. Мне этот скромный вечер доставил больше радости, чем вечер Асеева на прошлой неделе. На обратном пути я провожаю Б.Л. и слушаю его хаотические монологи, из которых запомнил, как всегда, только малую часть... Он очень опечален тем, что в следующую среду отменяется чтение недавно законченного им перевода «Ромео и Джульетты» из-за намеченного на этот день пушкинского вечера.

Б.Л. говорит, что 11 — день его рождения (29 по старому стилю) и поэтому он очень хотел читать именно в этот день. Его огорчение по-детски непосредственно и велико. До площади с нами идет Гуго Гупперт, немецкий поэт, эмигрант, отличный переводчик Маяковского. На днях в газетах было напечатано обращение к немецкому народу германских писателей и общественных деятелей. Среди прочих подписей есть и подпись Гупперта. Я спрашиваю Гуго: как у него запросили из Чистополя подпись, но оказывается, что он вообще ничего не знает об этом, и слышит от меня первого. Смеясь, он говорит, что утром первым делом побежит в парткабинет читать газеты.

10 февраля.

Прогулка с Б.Л. Разговор начинается с его работы над переводами Шекспира. А потом еще о многом. Кое-что запомнил и записываю...

— «Ромео и Джульетту» я перевожу не так, как «Гамлета», стремлюсь быть проще. Непереводимые метафорические выражения и народные переговоры их смысловым, а не образным эквивалентом...

— Лучшими русскими переводами «Ромео и Джульетты» я считаю перевод Михайловского в трехтомнике Гербеля и перевод Аполлона Григорьева, хотя последний страдает чрезмерной русификацией текста. Вершиной пьесы по красоте я считаю 5-й акт...

— Никогда не забуду ночь бомбежки Москвы 23 июля, розовые зарева летним утром. Я всю ночь был на крыше, через день я прочитал в «Известиях» очерк об этом — одного моего коллеги, который всю ночь просидел в подвале. (Говорю: «Ну, это просто элементарное жульничество!»). Нет, нет... Он не жулик, он хочет лучшего, я браню не его, а потребность в таком очерке...

— Жизнь в Чистополе хороша уже тем, что мы здесь ближе, чем в Москве к природной стихии: нас страшит мороз, радует оттепель — восстанавливаются естественные отношения человека с природой. И даже отсутствие удобств, всех этих кранов и штепселей мне лично не кажется лишением и я думаю, что говорю это почти от имени поэзии...

— В Переделкине, перед отъездом сюда я старался как можно больше наработать для денег и ночью во время бомбежек часто усаживался писать. Бомбежки мне в этом не мешали, даже лучше, кругом тишина, но очень мешала наша домработница, пожилая, умная женщина, но отчаянная трусиха. Она вдруг врывается в мою комнату и пугала меня страшным криком: «Опять стреляют! Боже мой!» а потом выбегала куда-то прятаться и мне приходилось бежать вслед за ней, чтобы закрыть дверь, распахивая которую настезь, она нарушала светомаскировку...

— Здесь у меня светлая хорошая комната, но тепло в ней бывает только если открываешь дверь к хозяевам, а там целый день ссорятся, учат уроки,

сплетничают, заводят патефон и все это неизбежно слушаешь. Даже когда работаешь, то только половиной сознания в работе, а другой половиной — там. Но тем не менее я здесь количественно более производителен, чем в Москве, хотя далеко не уверен в качестве.

— Спасение искусства от наступающего лже-искусства, которое страшнее любого непонимания или отсутствия потребности в искусстве, не в повышенном трудолюбии. Искусство немыслимо без риска и душевного самопожертвования, без свободы и смелости воображения. Настоящее искусство всегда неожиданно. Нельзя предвидеть неожиданности, нельзя руководить непослушанием...

— Обращали ли вы внимание на сходство языка Льва Толстого с языком Ленина? Когда Италия напала на Абиссинию, «Известия» напечатали отрывки из толстовского дневника времен первого нападения Италии на Абиссинию, в середине 90-х годов. Прочитав выдержки, я был буквально потрясен открывшимся мне сходством. Может быть я и увлекаюсь, но мне дорого это сходство, удивительное по общности тона, по простоте расправы с благовидными и общепризнанными условностями мещанской цивилизации империализма. За этим сходством я вижу нечто глубоко национальное, издавна всегда кажется чем-то несвоевременным, безотносительным к ходу обыденности. Именно толстовские бури разоблачений и бесцеремонностей для меня теперь являются выражением нашего национального, как и то, что сродни ему у Ленина. В этом я вижу начало той традиции, которую можно было бы назвать, если угодно, «Социалистическим реализмом», если бы в этот термин чаще всего не укутывали нечто противоположное: все трескуче-приподнятое, риторическое, неосновательное, человечески бесполезное и морально подозрительное.

— Зло, чтобы существовать, должно притворяться добром. Оно безнравственно уже этим притворством.

Можно сказать, что зло всегда обладает комплексом неполноценности: оно не смеет быть откровенным. Интеллигенты типа Ницше главной бедой зла считали именно эту его неполноценность, его способность быть оборотнем. Им казалось, что явись зло в мире самим собой, оно станет нравственным. Да это невозможно: даже фашизм под самое черное из своих преступлений — расизм — подводил какие-то объяснения о пользе немецкого народа.

— Я люблю у Ницше одну мысль. Он где-то говорит: — «Твоя истинная сущность не лежит глубоко в тебе, а недостижимо высоко над тобой». Это уже почти христианство.

— Во мне есть еврейская кровь, но нет ничего более чуждого мне, чем еврейский национализм. Может быть, только великорусский шовинизм. В этом вопросе я стою за полную еврейскую ассимиляцию, и мне лично единственно родной кажется русская культура, с широтой любых влияний на нее, в пушкинском смысле...

— Однажды, в начале двадцатых годов, явившись на очередное поэтическое ристалище внутренне несоборанным, недовольным собой, потерянными и недостойными чьего бы то ни было внимания, я, выйдя на эстраду Политехнического, был встречен громкими аплодисментами. В эту минуту я почувствовал, что стою перед возможностью рождения второй жизни, отвратительной по дешевизне ее мишурного блеска. И тогда меня навсегда отшатнуло от этого пути эстрадного и почти балаганного разврата. Я увидел свою задачу в возрождении поэтической книги со страницами, говорящими силой своего оглушительного безмолвия. Я предпочел поездкам поэтов на читки своих произведений, те поездки, которые совершили Пушкин, Лермонтов и Тютчев по своим книгам, и я все свои силы души отдал трудностям этих поездок, навсегда меня пленивших, так непохожих на легкости поездок театральных встреч... Вы говорите о Маяковском? Я

стал удивляться его гениальности раньше большинства, клянущегося сейчас ему в верности, и долго любил его до обожания. Но Маяковский на эстраде был такой лживой и потрясающей истиной и давал так много, что на несколько поколений вперед оправдал это для него одно бесспорное поприще и тем самым искупил вперед грехи будущих героев поэтического мюзик-холла, в своем развитии дошедшего до дикарства...

15 февраля.

Стало теплей. Днем на солнце даже немножко тает. Появились сосульки. Дороги пахнут, как в детстве, конским навозом. Завтра начинается великий пост — мне сказал встреченный сегодня Б.Л.

У меня в руках была взятая в библиотеке книга о художнике Н.Н. Ге. С нее начался разговор...

— Я знал Ге, когда был мальчиком. Он даже иногда говорил, что у него два настоящих друга: Лев Николаевич Толстой и я. Мне тогда было пять лет. Для меня он был не знаменитый художник, а старый знакомый отца, просто «дядя Коля»...

Идем с ним, как обычно, к Каме и говорим о разном:

— Меня многие принимают не за то, что я есть. Это всю жизнь отравляло мои отношения с Горьким. В Переделкине Фадеев иногда, напившись, являлся ко мне и начинал откровенничать. Меня смущало и обижало, что он позволял себе это именно со мной...

Фадеев лично ко мне хорошо относится, но если ему велят меня четвертовать, он добросовестно это выполнит, и бодро об этом отрапортует, хотя потом, когда снова напьется, будет говорить, что ему меня жаль и что я был очень хорошим человеком. Есть выражение — «человек с двойной душой». У нас таких много. Про Фадеева я сказал бы иначе. У него душа разделена на множество непроницаемых отсеков,

как подводная лодка. Только алкоголь все смешивает, все переборки поднимаются...

— Если бы мне когда-нибудь пришлось выпускать собрание сочинений, я был бы беспощаден к своим ранним произведениям. Если говорить совершенно прямо, то мое будущее собрание сочинений еще не написано, ну, может быть, на один том все-таки что-нибудь наберется. Но не больше, нет, не больше, клянусь вам. И это не кокетство, не подумайте так, избави Боже. Это мое сокровеннейшее убеждение: я несколько десятков лет живу по существу в кредит и ничего стоящего пока не сделал. Я не боюсь этих мыслей, они страшны только духовным банкротам, а мени они только подбадривают.

— Постепенно я начинаю тяготиться своими переводческими работами, но, увы, все остальное непрочно, а они дают какой-то верный хлеб. Лучшая моя работа «Гамлет», я это знаю, что бы мне о нем ни говорили. «Гамлет» раньше не так переводили. У Шекспира это субъективнейшая из трагедий, поскольку трагедия может быть субъективной. Другое дело «Ромео и Джульетта». Я нашел в тексте «Ромео и Джульетты» много почти дословных сходств с образной системой Маяковского (и в том числе «Любовную лодку», натолкнувшуюся на быт — финальные реплики Ромео). Здесь сходство настолько близко, что мне пришлось его уничтожить, чтобы оно не бросалось в глаза. Для меня несомненно, что Маяковский читал и учился у Шекспира. Есть у обоих поэтов и природное, так сказать, врожденное сходство, например, в типе их остроумия.

— У Маяковского родословная литературная гораздо сложнее, чем принято считать. Я воспринимаю его, как продолжение Достоевского. Его ранние стихи могли бы написать младшие герои Достоевского, молодые бунтари, типа Ипполита, Раскольников и героя «Подростка». Все лучшее, что ими сказано — сказано навсегда, прямолинейно и непримиримо и даже не

столько сказано, как с изумительным размахом брошено обществу, городу, пространству...

Я спрашиваю его о том, почему он прекратил свою работу над большим романом в прозе, отрывки из которого появились в «Литературной газете» и «30 днях» в 1938 году.

— Мне очень мешало писать этот роман все время меняющееся из-за политической конъюнктуры отношение к империалистической войне...

20 февраля.

Сегодня утром сел за работу, как обычно, вдруг стук в окно. Смотрю — Б.Л. Выбегаю. Он не хочет заходить и зовет меня гулять. Возвращаюсь одеться, а он ждет меня, сбивая с крыши сосульки.

— Вот уже седею, а сосульки все те же самые, что и в детстве, — говорит он, — Вот ту, я, кажется, помню...

Идем нашим постоянным маршрутом к Каме мимо церкви, а потом направо к затону.

Я получил от мамы известие, что в Москве уже висят афиши премьеры новой пьесы и говорю ему об этом. Он весело поздравляет меня.

Хороший, почти весенний денек, и интересный разговор, из которого записываю малую часть:

Он начинается с того, что Б.Л. говорит о вмерзающих в Каму барках, что когда он на них смотрит, он всегда вспоминает Марину Цветаеву, которая перед отъездом отсюда сказала кому-то, что она предпочла бы вмерзнуть в Чистополе в лед Камы, чем уезжать. «Впрочем, тогда еще было далеко до зимы, но ее ждали с ужасом, а по Каме все шли и шли бесконечные баржи»...

— Я очень любил ее и теперь сожалею, что не искал случаев высказать ей это так часто, как ей это, может быть, было нужно. Она прожила героическую жизнь. Она совершала подвиги каждый день. Это были

подвиги верности той единственной стране, подданным которой она была — поэзии...

— Конечно, она была более русской, чем все мы, не только по крови, но по ритмам, жившим в ее душе, по своему огромному и единственному по силе языку...

— Все мы писали в юности плохо, но у меня этот период затянулся, так как вообще я человек замедленного развития: у меня все приходит позже. Марина прошла свой подражательный период стремительно и очень рано. Еще в том периоде жизни, когда все ошибки и ляпсусы простительны и даже милы, она уже была мастером редкой силы и уверенности.

— Я виноват, что в свое время не отговаривал ее вернуться в Советский Союз. Что ее здесь ждало? Она была нищей в Париже, она умерла нищей у нас. Здесь ее ждало худшее еще — бессмысленная и безымянная трагедия уничтожения всех близких, о которой у меня еще нет мужества говорить сейчас...

Я спрашиваю Б.Л., кто виноват в том, что она, вернувшись на родину, оказалась так одинока и бесприютна, что в сущности, видимо, и привело ее к гибели в Елабуге?

Он без секунды раздумия говорит — Я!... — и прибавляет: Мы, все. Я и другие. Я и Асеев, и Федин и Фадеев. И все мы... Полные благих намерений, мы ничего не сделали, утешая себя тем, что были беспомощны. О, это иногда бывает очень удобно: чувствовать себя беспомощным. Государство и мы. — Оно может все, а мы — ничего. В который раз мы согласились, что беспомощны, и пошли обедать. Большинству из нас это не испортило даже аппетита. Это наше общее преступление, следствие душевной глухоты, бессовестливости, преступного эгоизма.

— Когда-нибудь я напишу о ней, я уже начал... Да, и стихами и прозой. Мне уже давно хочется, но я сдерживаю себя, чтобы накопить силу, достойную темы, то есть ее, Марины. О ней надо писать с тугой силой выражения...

Мы говорим (переход понятен) о Сталине и о том, о чем любили поговорить люди тридцатых и сороковых годов, — знает ли он о всех преступлениях режима репрессии? Естественно, что эту часть разговора я записывал в очень сокращенном и зашифрованном виде.

После небольшой паузы Б.Л. говорит :

— Если он не знает, то это тоже преступление и для государственного деятеля, может, самое большое...

Далее Б.Л., говоря о Сталине, называет его « гигантом дохристианской эры человечества ».

Я переспрашиваю : может быть, « послехристианской эры » ?

Но он настаивает на своей формулировке, и длинно мотивирует ее. Но я этого не записал.

Он жалуется, что последние дни не работается. Вот и сегодня он в рабочие часы вышел погулять. — И вам помешал работать.

— Я знаю, что дело не в помехах, на которые я все сваливаю, а во мне самом. Помех всегда оказывается в нашем распоряжении сколько угодно, когда работать не хочется. Это у меня бывает довольно редко и я не люблю себя заставлять. Перейдешь какую-то меру принуждения и работа может потерять прелесть, без которой будет чего-то не хватать, даже если и все сделаешь как наметил.

— В те периоды жизни, когда я работал преимущественно по ночам, я приучал себя днем не думать о работе, чтобы вернуться в свежести к написанному, оставленному и полузабытому. Но то, что я не работал, а погружался в различного рода праздность, тоже было своего рода подготовкой к работе. После бессонной ночи бываешь вял и ленив и в этой дымке полусна и лени делается какая-то очень важная предварительная половина работы, нарастает тоска по энергии, по законченности, по определенности, сделанное претерпевает важные видоизменения. Собственно работа никогда не останавливается, но она имеет то открытый,

то тайный вид. Это все, разумеется, относится, главным образом, к стихописанию, а над переводами я работаю более, что ли, рационалистически и трезво...

Не помню, какой переход привел нас к разговору о театре. Тяга Б.Л. к театру сейчас очень велика. Может то, что я «театральный человек», ученик Мейерхольда и драматург, тоже объясняет его интерес ко мне. По тому, как он говорит о театре, чувствуется, что для него это искусство кажется важным непосредственностью своих отдач, запахом успеха. Как зритель на спектаклях, он необычайно непосредствен. Недавно я зашел в местный театрик на спектакль «Чужой ребенок». Б.Л. смотрел его и смеялся так, что чуть не упал со стула и это привело меня в недоумение: подобный юмор мне кажется более чем невзыскательным. Он часто говорит, что мечтает написать пьесу и его внимание к моей работе тоже, конечно, связано с тем, что драматургия сейчас лежит на скрепчении его интересов.

То, что он дружил с Мейерхольдом, вовсе не ограничивает его собственные театральные вкусы одним «левым театром»: он с уважением говорит о художественном театре и, кажется, еще не потерял надежду увидеть на его сцене свое любимое детище «Гамлет».

23 февраля.

На вечере, посвященном дню Красной Армии. Инцидент с Б.Л. После бродим с ним. Он раздосадован и смущен.

26 февраля.

Сегодня в зале Дома учителя Б.Л. читает свой перевод «Ромео и Джульетты». Билеты платные: по 4 и 5 рублей. Сбор идет на подарки солдатам Красной Армии. Под вечер в городе авария электростанции и

света нет. Б.Л. читает, освещенный двумя керосиновыми лампочками. Зал почти полон. Тут вся писательская колония и много местной интеллигенции, хотя в тот же вечер рядом, в Доме культуры в театре, премьеры «Обрыва». Начинают всего с получасовым опозданием.

Б. Л. в черном костюме и пестром вязаном галстуке. На ногах белые валенки. Он добродушно спокоен. Как обычно, перед тем, как начать читать, он говорит вступительные замечания, растекается в них, перескакивает с одного на другое, запутывается, и, наконец, обрывает. Читает он не то, чтобы хорошо, но мило: громко и понятно. Он абсолютно не актер и когда в речах характерных персонажей, вроде кормилицы, начинает как-бы играть, то это получается наивно. Лучшее всего он читает текст Ромео и Лоренцо. Драматично прозвучала сцена смерти Меркуцио. Сам перевод очень хорош, едва ли не лучше «Гамлета». Рифмованные куски переведены образцово.

Он читает перевод не полностью, а делая купюры во второстепенных сценах. Вначале предупреждает, что вершиной пьесы по красоте он считает пятый акт, но для того, чтобы до него добраться «вам придется потерпеть». 5-й акт он читает весь целиком. Пропущенные места пересказывает своими словами и опять — характерно для него — иногда этот пересказ с его комментариями так разбухает, что он, поняв это, со смехом говорит: — «Ну, пожалуй, проще будет это прочесть». После третьего акта небольшой перерыв. Без четверти одиннадцать все заканчивается. После конца мне говорят, что он ищет меня. Я иду к нему. Он отдает со множеством извинений 15 рублей.

27 февраля.

Гуляем с Г.О. Винокуром и, после обычных разговоров о войне, переходим к Пастернаку. Винокур верно говорит, что живой Пастернак является ходячим

опровержением пошлого тезиса о том, что книжная мудрость и непосредственное поэтическое восприятие мира являются антагонистами. Настоящему поэту ничего не мешает. Не будь Пастернак так образован, разве был бы столь неожидан и велик круг его ассоциаций? И Гете, и Байрон, и Пушкин, и Фет, и Блок — были очень образованными людьми и от этого еще пышнее их поэтический дар. Говорим об отношениях Пастернака и Асеева и Винокур вспоминает Пушкина и Баратынского. «Сальеризм» Баратынского и то же у Асеева. Винокур, хорошо знавший Маяковского, подтверждает рассказ Л. Брик о том, что Маяковский без конца бормотал строки Пастернака. Он любил Б.Л., как любят непослушного младшего брата против стеснительной опеки старшего.

Я прошу Г.О. прекомментировать мне странную фразу, недавно сказанную Б.Л. о том, что «квартира Бриков была в сущности отделением московской милиции»... Г.О. усмехается, молчит, но потом с оговорками, что это только его личное мнение и прочее, начинает рассказывать о дружбе Бриков со знаменитым Яном Аграновым, крупным чекистом, занимавшимся по своей линии литературными делами.

Агранов сначала заведывал специальным отделом в ГАПУ и НКВД, потом стал заместителем наркома, и погиб в 1937 году (тогда говорили, вспоминал я, что он выбросился из окна, когда за ним «пришли»). Агранов с женой бывал у Бриков. Г.О. сам его у них встречал. По его могучей протекции Маяковскому так легко разрешали частые заграничные поездки, но, когда В.В. влюбился в Париже в Татьяну Яковлеву, сделал ей предложение и должен был снова ехать осенью 1929 года в Париж, ему не дали визу. Возможно, Брики опасались женитьбы Маяковского на эмигрантке, и вероятно, информировали об этом Агранова. На Маяковского этот первый в его жизни отказ в визе произвел страшное впечатление. С его цельностью он не мог понять и примириться с тем, что ему, Мая-

ковскому, не доверяют. Тут начало внутренней драмы, которая привела его к самоубийству. Г.О. говорит, что это не обязательно трактовать плохо: со своей точки зрения Брики может быть и были правы, оберегая Маяковского от этого опасного, по их мнению, увлечения, но, так или иначе, во вмешательстве Агранова было что-то зловещее. Вероятно, Б.Л. имел в виду этот эпизод, о котором друзья Маяковского знали.

Г.О. был близок к журналу «ЛЕФ», печатался в нем, дружил и с Бриками, и с Маяковским. Он умица с отличным вкусом и прекрасный человек.

3 марта.

Стою в очереди за хлебом в бывшей нашей литфондовой столовке, уже давно закрытой для обедов, которые не из чего готовить и превращенной в нечто вроде распределителя. Очередь довольно большая: в основном писательские жены и домработницы, еще кое у кого имеющиеся. Входит Пастернак. На него сразу сварливо кричат, чтобы он закрыл дверь. Он смущенно извиняется. Я машу ему рукой, увидя, что он скромно стал в самый хвост. Он мне улыбается, но не понимает, что я хочу поставить его перед собой. Я пытаюсь взять у него карточки, но он затевает по этому поводу объяснения и очередь начинает ворчать. — «Что вы? Не нужно? Зачем?» — говорит Б.Л., все еще улыбаясь. Моя очередь уже близка, но я выхожу из нее и становлюсь сзади него. На нас все искоса поглядывают, а мы говорим об Аполлоне Григорьеве. По-моему, Б.Л. так и не разобрал, почему я встал рядом с ним, и решил, что мне просто захотелось поговорить. Но совесть у людей все-таки есть. Когда подошла моя очередь — меня позвали, а заодно и Б.Л. — и так вдруг просто и сердечно, что он не мог отказаться. Все улыбаются и почему-то довольны. А он с буханкой хлеба в авоське продолжает красноречиво рассу-

ждать об Аполлоне Григорьеве и молодом « Москвитяnine ».

5 марта.

М. Никитин читает на « литературной среде » отрывки из своей книги. Сумбурная, витиеватая, надуманная штука. Обсуждение гораздо выше предмета. Говорят : Пастернак, Леонов, Асеев, Лерман, Добрынин и кто-то еще. Все говорят « вообще », по-разному уклоняясь от прямой оценки вещи. После нескольких выступлений, я ухожу с конца диспута в читальню. Там сидит Г.О. Винокур и слушает, транслируемое из Куйбышева, первое исполнение 7-й симфонии Шостаковича. Я успеваю прослушать 3-ю и 4-ю части. Передача и диспут кончаются почти одновременно и мы уходим из Дома учителя вместе с Б.Л. Пастернаком. Провожая его до дому. Морозец крепчает. Так славно идти по скрипящему под ногами снегу. Б.Л. спрашивает о чтении « Ромео и Джульетты » и со смехом советует, как достать самоварную трубу. Узнав про трансляцию 7-й симфонии, попенял мне, что его не позвал.

Б.Л. сегодня говорил о том, что « безличье всегда сложнее лица », но эту свою старую мысль (она сформулирована еще в « Охранной грамоте »), он развивал несколько иначе, чем раньше. Я рассказываю ему об определении Мейерхольда « простота это вершина, а не фундамент », и он приходит в восторг.

— Самое сложное — это хаос. Искусство — это преодоление хаоса, как христианство — преодоление доисторических бесконечных массивов времени. Доисторический хаос не знает явлений памяти : память это история и память — это искусство. Прошрое вне памяти не существует : оно дается нам памятью. История и искусство — дети одной матери — памяти. Искусство — это упрощение, как возвышение, а не как снижение : это реальность выкристаллизовавшаяся

на хаосе, который по своей природе антиреален. Он есть, но его не существует, т. е. он существует только через искусство и историю, через лица, наперекор безличью хаоса...

Я решаюсь вставить: — Герцен говорил: «то, о чем не осмеливаешься сказать, существует только наполовину».

— О, да, да... Это верно. Кажется, что это противоречит известному афоризму Тютчева, но в сущности и то и это — две стороны медали...

Мы уже стоим у его дома. Прощаясь, Б.Л. просит принести ему завтра «Давным-давно» и обещает ее сразу дочитать.

6 марта.

Днем заново Б.Л. пьесу. Сиж у него недолго. В Чистополе снова стоят морозы. Он просит прийти к нему завтра, обещал сегодня же дочитать. Советские войска взяли Юхнов. В наших встречах уже образовалась традиция — я ему рассказываю последние военные и политические новости.

Перелистав пьесу, Б.Л. вдруг говорит:

— Ваша главная удача в том, что вы взяли необычайно заманчивый и благородный материал. Когда я читал первые два акта, мне казалось, что я вдруг нашел где-то на темном чердаке ящик с моими любимыми детскими игрушками.

7 марта.

Почти пятичасовой разговор с Б.Л. у него дома, после которого я ухожу пьяным от счастья. Пьесу он не успел дочитать и говорили мы о другом, но бесконечно интересно...

Явился я к нему, выбрившись, в начале первого. Он моется в своей комнате и кричит мне, чтобы я подождал минутку на кухне. Тут же у керосинки рых-

лая хозяйка с детишками. На стене плакат к фильму «Песнь любви». За дверью веселый плеск воды и громкое фырканье Б.Л. Наконец дверь раскрывается и он приглашает войти. Он в брюках и в нижней, мятой забрызганной белой рубашке. Разговаривая, он продолжает одеваться, застегивает ворот, надевает воротничок, подтяжки и пиджак. На пиджаке нижняя пуговица правого борта болтается на ниточке и я невольно все время на нее смотрю. Пол залит водой. Б.Л. приносит щетку и затирает пол. Он уже усадил меня на стул, а сам еще расхаживает и только минут через двадцать садится на кровать.

Я снова рассматриваю комнату, пока он выходит. Она средней величины и неважно побелена. Посредине стены идет бордюр с черными и красными птицами. В комнате две сдвинутых рядом кровати (узнаю наши «литфондовские» «из интерната»: у меня такая же), рабочий стол Б.Л. и несколько стульев. В углу подобие шкафчика. Очень неуютно, но довольно светло. На столе лежит толстая рукопись большого формата — это «Ромео и Джульетта». Старинное издание Шекспира в двух томиках на английском, Английский словарь, Французский словарь. Книга В. Гюго о Шекспире, на французском языке, вся переложенная узкими бумажными листиками. Под книгой толстая тетрадь, исписанная выписками (почерк Б.Л.) — проза, наверно из Гюго. На столе чернильница, кучка карандашей, лезвия для бритвы, стопка старых писем и каких-то квитанций.

В волосах у Б.Л. уже заметна проседь, но еще не преобладает. Глаза желто-карие, крепкие лицевые мускулы, свежая кожа. Впереди нет верхнего зуба. Он оживлен и подвижен.

Очень трудно записать этот разговор. Насколько мне было легче записывать В.Э.М., Б.Л. всегда многословен, сбивчив, хаотичен, хотя все говоримое им внутренне последовательно и только форма импрессионистически-парадоксальная. Затрудняясь в каком-ни-

будь слове, он неясно мычит и это странное междометие сопровождает все его монологи.

— Вы мне сказали, что я перехвалил последние стихи Асеева. Я после думал об этом. Может быть вы и правы, но я хвалил отчасти потому, что хотел поддержать его в укреплении чувства внутренней независимости, которое Асеев после многих лет стал возвращать себе только здесь в Чистополе, очутившись вдали от редакции и внутрисоюзных комбинаций. Ряд лет я был далек от него из-за всего, что определяло атмосферу лефовской группы и главным образом из-за компании вокруг Бриков. Когда-нибудь биографы установят их губительное влияние на Маяковского. Асеев очень сложный человек. Уже здесь в Чистополе он недавно ни с того, ни с сего оскорбил меня и даже вынудил жаловаться на него Федину. То, что вы называете «перехвалил», вероятно, находит свое объяснение в моем желании побороть обиду и неприязнь, которым я решил не дать расти в себе...

— Всякая стадность — убежище неодаренности. Все равно, на какой платформе — на основе ницшеанства, марксизма или соловьевского христианства. Тем, кто любит и ищет истину, не может быть не тесно в любых марширующих рядах, куда бы они ни маршировали...

— Мне странно, что многие живущие здесь писатели ноют и жалуются и не могут оценить тех благ, которые им дала эвакуация в отношении приобретения внутренней независимости. Я уверен, что я буду навсегда благодарен Чистополю за одно это...

— Мое положение в литературе двусмысленно. Почему вы улыбаетесь? Это правда. Меня ценят за большее, чем я дал. Я в огромном долгу и со всей своей известностью часто кажусь себе Хлестаковым (с заметной горечью). А иногда мне кажется, что я нечто вроде привидения. Когда я попадаю в общество так непоколебимо уверенных в себе Фединых, Леонова и других, я чувствую себя очень странно. С одной сто-

роны, есть как бы литературное имя и даже за рубежом. С другой стороны, я живу с непроходящим чувством, что я почти самозванец. Что я сделал? Что мы все сделали? Мы получили в наследство замечательную русскую культуру и разменяли ее на поденки и куплеты.

Я много бы дал за то, чтобы быть автором «Разгрома» или «Цементы». Да, да и не смотрите на меня с таким удивлением. Поймите, что я хочу сказать. Большая литература существует только в сотрудничестве с большим читателем...

— Мы все ждем гениальных произведений нашего времени. Я уверен, что и Федин и Леонов ощущают свою неполноценность...

— Когда я говорю «мы», то это всегда значит — те, кто идут от преемственности к традиции...

— Я шесть лет перевожу. Надо же, наконец, что-то написать...

— 80 % вашего хорошего отношения ко мне это, верно, мой перевод «Гамлета». Я буду огорчен, если вы станете отрицать это...

Все прочее мне давно уже кажется чрезмерно сложным, натянутым, украшенным... (Я все же решаюсь возражать). Нет, нет, нет, не говорите, я совершенно убежден в этом. Не заставляйте меня думать о вас плохо, не говорите, что вы любите «раннего Пастернака». Что? Любите? Тем хуже для вас. Тогда вам не должно нравиться то, что я теперь собираюсь делать. Вы отстанете от меня, как я отстал в двадцатых годах как читатель Маяковского. История литературы показывает, что у каждого поэта несколько поколений читателей, принимающих один период его работы и не принимающих другой. Вспомните Пушкина, Толстого, Горького. Художник должен иметь мужество сопротивляться вкусам своих поклонников, бунтовать против их инстинкта заставить его повторяться. Нет большей храбрости для художника, чем проснуться в одно утро нищим, свободным от всего. В этом смысле

— терять художнику важнее, чем находить. Читатель всегда консервативнее поэта. Да, да, — и вы тоже. Надеюсь, я вас не обидел?

— Нет ничего более полезного для здоровья, чем прямоту, откровенность, искренность и чистая совесть. Если бы я был врачом, то я написал бы труд о страшной опасности, для физического здоровья, криводушия ставшего привычкой. Это страшнее алкоголизма...

— Чтобы говорить правду, надо быть еретиком. Это было и будет во все времена...

— В нас живут, не желая умирать, наши прежние, уже преодоленные развитием вкуса художнические привязанности. Я давно предпочитаю Лермонтову Пушкина, Достоевскому и даже Толстому Чехова, но как только остаюсь наедине с собой, с пером в руке, закон отдачи художественного впечатления, равный квадрату силы увлечения воскрешает под пером призраки их образов, технические приемы, ритмы, краски...

— Стремление к чистоте жанра свойственно только так называемым эпигонам. Открыватели и родоначальники варварски смешивают разнородные стилистические и композиционные элементы, оказываясь победителями, не по законам вкуса, а по его инстинктивному чутью. И их незаконные победы потом становятся образцом для новых толп подражателей...

— Надо уметь доверяться мнимому художническому безделью, отдаваться ему без понуканий и самоупреков. Потребность в таком безделье чаще всего неосознанная необходимость перескочить в том, что называется подсознанием, трудный барьер, который не удалось взять в рабочие часы с лету. Как часто я бессознательно и поражающе легко брал такие барьеры, стоило только мне перестать стараться и погрузиться в подобное безделье, в неожиданный сон.

— Когда я бываю изредка на собраниях в нашем Союзе писателей, я слушаю речи моих собратьев, ко-

торых я, вероятно, ничем не лучше, я всегда почему-то вспоминаю героев «Плодов просвещения», с их банкетно-адвокатским красноречием, с приподнятой фанфарной пошлостью, которая вошла в обычай и стала как бы обязательной.

— Не говорите мне, что во всем плохом, что окружает нас, мы сами ничуть не виноваты. Общественные настроения не создаются дедуктивно, или спускаются откуда-то сверху. Мы сами создали себе добавочные путы, мы сами возвели в ежедневный и ежечасный ритуал присягу в верности, которая, чем чаще ее повторяют, тем больше теряет в своей цене...

— Мы окружены во всем, что делаем и говорим, предвзятыми мнениями и застарелыми предрассудками. Нам бы сейчас нового Толстого, чтобы он по ним ударил своей бесцеремонной правдивостью, а мы все больше в них укореняемся. Заметили ли вы, что многие ложные взгляды стали догматами, только потому, что они утверждаются в паре с чем-нибудь иным, неопровержимым, или святым и тогда часть благодати с бесспорных и абсолютных истин переходит на утверждения сомнительные, или совсем ложные?...

— В наши дни политический допрос — это не столько поступок, сколько философская система...

— Сколько аморальных, жестких, злобных понятий существовало под прикрытием великого слова «Революция».

Когда я уйду, он снова церемонно извиняется, что не успел дочитать пьесу. — То есть, вернее, — я и не раскрыл ее. Мне вчера помешали. Но это не беда. У нас будет повод снова вскоре встретиться, хорошо? Я с вами люблю разговаривать. Вы мне не поддакиваете, но кажется, меня понимаете...

11 марта.

Очередная «литературная среда» посвящена диспуту о писателях и критиках. Говорят: Винокур,

Леонов, Дерман, Пастернак, Леонов, Федин, Нусинов, Галкин. Пастернак берет слово трижды, но говорит еще более хаотично, чем обычно. Кроме него, интересно говорит умница Винокур.

Кто-то принес номер « Правды » от 8-го, где напечатано стихотворение Анны Ахматовой « Мужество », и он ходит из рук в руки. Б.Л. сияет от радости. За несколько дней до этого в « Правде » была заметка, что « Давным-давно » ставит Центральный театр Красной Армии. Меня снова все поздравляют. Б.Л. приглашает к себе в субботу.

13 марта.

Днем встреча с Б.Л. в помещении Союза. Увидев меня, он сразу подходит :

— Здравствуйте, А.К. Вы не забыли, что завтра вы у меня ?...

— В Союзе дают билеты на просмотр фильма « Разгром немцев под Москвой ». Мы берем с ним на понедельник 16-го.

Я говорю ему, что через несколько дней мы с Арбузовым улетаем в Свердловск. Он искренне огорчается.

— Мне будет здесь вас не хватать.

Выходим вместе. Снежно. Метелит.

14 марта.

Разговор с Б.Л. о прочтенной им « Давным-давно ».

— Верные и яркие краски фона. Он густ, точен и мягок. Увлекательная наивность в ведении сюжета. Ваша лучшая черта — пленительная доверчивость воображения. Пьеса изящна в полном смысле слова. Нигде не изменяет вкус. Сразу оговариваюсь : кроме одной фразы Кутузова : « К мадам ».

— В стихосложении есть ошибки в расстановке слов в строке. Но они редки и вообще это совершенный

пустяк. Хороши песенки о Короле Анри Четвертом и романс Жермон. Прелестна «Колыбельная Светланы» — в ней даже угадывается мелодия, так она выразительно музыкальна. Она наивна без жеманства. В гусарской песне «Давным-давно» есть цыганская сложность позднейшей эпохи. Вместо Дениса Давыдова где-то вдруг звучит Апухтин. Впрочем, не знаю — плохо ли это? Вы тут, как и во всем свободны от мелочной стилизации. Комедию делают мыши и кукла. Мне это нравится. Очень хороши французенка, Дюссьер, испанец. Это все верные краски рыцарского характера тех войн... А вас не упрекали, что французы у вас мало звери?... Нет? Ну, скажут...

Очень интересен Пелымов. Вот — образ, окутанный множеством ассоциаций, хотя и написанный очень лаконично. Мне почему-то хочется, чтобы он стал партнером Шуры вместо Ржевского к финалу. Ржевского я бы сделал фигурой комической. Он искусственно попадает к концу в герои.... Простите за советы, не мог от них удержаться, потому что мне понравилась пьеса... «Давным-давно» — вещь юношеская в полном смысле. Когда-нибудь про нее станут говорить: «Это молодой Гладков». Вы разбредили мою мечту написать пьесу. За это тоже вам спасибо. Может быть и напишу. Но я мечтаю о драме в прозе и почти бытовой, об изнанке войны...

— Как мне ни понравилась ваша пьеса, мне все же кажется, что она ниже возможностей автора. Когда вас принимали в союз, я говорил о несомненности вашего дарования, о молодости, свежести, какой-то юной силе и о том, что могло быть названо романтизмом, если бы это слово не было так истрепано. Но главное ваше активное свойство — это доверчивость вашего воображения, пленяющая читателя. Вы смело и безоглядно ведете свой рассказ ни на секунду не опасаясь, что вам кто-то не поверит...

— Вам трудно писать драму стихами, потому что

вы застали наш русский стих в ужасном состоянии. Сейчас нужны точные рифмы, а не ассонансы...

В драме надо пользоваться стихом только для того, чтобы сделать сюжет еще естественней...

Вы встали на путь создания в драме игрового стиха вместо стиха риторического. Эта дорога параллельна тому, что сделал Художественный театр. Если у театрального стиха есть будущее, то оно только тут. Риторический стихотворный театр умирает. Нет ничего более старомодного, чем пьесы в стихах Гусева и других...

— Ошибки глаза, т. е. ошибки в строении вещи, предопределяют ошибки слуха, т. е. языка...

— Вы говорите, что ваша новая пьеса начинается с рытья картошки (Я рассказывал Б.Л. сюжет пьесы «Бессмертный», над которой я тогда работал вместе с А. Арбузовым). Удивительное совпадение — моя пьеса тоже должна начинаться с картофельного поля. А дальше — старинное имение... Тема — «преемственность культуры...» (Я молчу, не решаясь сказать, что и у нас тоже дальше — имение!)... Я мечтаю возродить в этой пьесе забытые традиции Ибсена и Чехова. Это не реализм, а символизм, что ли? ...(Я подсказываю «импрессионизм»). Да, да, совершенно верно... Я уже получил аванс за эту пьесу от Новосибирского театра, ну, того, где работает актер Илловайский. Вы знаете его? (Я говорю, что слышал, что это хороший актер). Он работал над моим «Гамлетом». Мы переписывались с ним о «Гамлете» и прочем. У него есть несколько моих писем.

— Вы помните, что я говорил вам о бомбежках Москвы и о том, как я дежурил на крыше? Вот что-то в моей пьесе и от этого...

Снова говорим о замысле биографической драмы в стихах, о Петефи. Ему он нравится. Он говорит о романтизме, Новалисе, о «цыганской струе» в мировой поэзии.

Разговор этот был вечером дома у Б.Л. Он нездо-

ров и полулежал. Долго за это извинялся. У него нет лекарств, а Зинаида Николаевна на дежурстве в детском интернате Литфонда. Отдал ему заваливавшуюся в кармане коробочку кальцекаса. Он просит зайти по дороге в интернат, разыскать З.Н. и попросить ее пораньше вернуться домой, что я и делаю. З.Н. как-то довольно равнодушно выслушивает меня и сухо говорит: — «Хорошо. Спасибо...»

Трескучий мороз и, хотя еще не поздно, чисто-польские улицы почти пусты. Тускло светят в окнах слабые лампочки. До дома, где я живу, мне надо пройти две длиннющие улицы: улицу Володарского и пересекающую ее улицу Льва Толстого. Я одолеваю этот путь как на крыльях, не замечая ни мороза, ни обледенелых колдобин под ногами, по которым и днем-то нелегко пройти. Снова и снова перебираю в памяти то, что сказал Б.Л.

Да, вправду ли это было — я говорил с Пастернаком о своей пьесе? В самых смелых своих мечтах я никогда не надеялся на это. Я еще не видел ее на сцене, а уже получил за нее высшую награду — его одобрение. Даже если большую часть его отнести на счет его доброжелательности и дружеской снисходительности, то и того, что останется вполне достаточно, чтобы чувствовать себя безмерно счастливым.

17 марта.

Не видел вчера Б.Л. в кино и подумал, что он болен. Завтра я лечу в Свердловск, вызов от Театра Красной Армии в кармане, и решаю зайти к нему проститься. Так и оказалось — он лежит. Он один дома и обрадовался мне. Простились сердечно. Он должен был сегодня читать «Ромео и Джульетту» в помещении городского театра, но отменил чтение из-за болезни. Просит меня подойти туда, повесить объявление о переносе чтения и дает текст.

Прямо от него я отправляюсь в театр. На дверях

висит прежнее объявление. Я срываю его и беру на память. Оно написано им самим большими буквами красным и синим карандашом и довольно забавно. Кроме того, это автограф Пастернака...

« Немногочисленные одиночки, интересующиеся всем текстом « Ромео и Джульетты » в моем переводе без сокращений могут его услышать во вторник 17 марта в 6 часов вечера в помещении Городского театра (Дом культуры на улице Льва Толстого).

Я буду читать перевод труппе театра, любезно открывшей двери всем желающим. В случае препятствий обращаться к артисту тов. Ржанову »,

Б. Пастернак.

20 марта.

Я уже второй день в Казани. Живу в кабинете режиссера Гаккеля в театре. Вчера вслед за мной прилетел из Чистополя Арбузов и привез мне записку от Б.Л. и экземпляр « Ромео и Джульетты », перепечатанный на машинке.

« Дорогой Александр Константинович! Счастливой дороги! Итак помогите: если бы явилась необходимость в размножении экземпляров. Проследите скрупулезнейше за правильностью копий. Поклон Александру Дмитриевичу. Если будет что сообщить, напишите. Мой Адрес: Татарская АССР, г. Чистополь, ул. Володарского, 74, квартира Вавиловых. В Казани интересуются рукописью для газеты « Литература и искусство ». Если вы задержитесь, дайте им для ознакомления, но вообще предоставляю все это Вашему усмотрению.

Может быть, если Попов заинтересуется и возьмет перевод, пообещать им (газете) это потом, обратным вашим проездом из Свердловска.

Спасибо за участие. Всего лучшего

Ваш Б. Пастернак »

На письме нет даты, но я знаю, что написано оно было 13 марта 1942 года. Б.Л. сам принес мне сверток с рукописью и письмо и постучал в низенькое окно домика где я жил, как раньше, когда звал меня гулять у затона.

Эту рукопись (т. е. машинопись с рукописной правкой) читали многие. С нее перепечатали экземпляр в Отделе распространения ВУАП'а и я целую ночь выверял копии. А.Д. Попову перевод понравился, но у него в труппе не нашлось исполнителей для главных ролей, хотя он все-таки долго не давал отрицательного ответа, примеряя разные комбинации с распределением ролей. Мне удалось заинтересовать в переводе руководство Малого театра: они даже объявили в печати о готовящейся постановке и, кажется, подписали с Б.Л. договор (во всяком случае собирались, я им дал его адрес). О переводе прослышал В.Н. Яхонтов и зашел ко мне, чтобы его получить. В этот момент у меня не было его на руках и он заходил еще дважды. Когда он получил перевод и прочел, у него возникла мысль сыграть одному всю трагедию. Это было летом 1942 года. Помню вечер, когда мы сидели с ними с увлечением примеряли возможные купюры, поглядывая на часы, чтобы не прозевать комендантский час. К сожалению, В.Н. так мне и не вернул экземпляра, когда эта затея почему-то разстроилась.

Обо всех моих хлопотах по устройству перевода я написал Б.Л., но просил его до времени мне не отвечать, так как должен был вместе с Тихоном Хренниковым ехать на фронт с бригадой ЦТКА (тогда еще Красная Армия не была переименована в Советскую армию и ЦТКА в ЦТСА). Наше оформление в бригаде почему-то задержалось в Политуправлении и она под руководством режиссера Пильдона уехала, нас не дождавшись, попала в майское окружение под Харьковом и почти вся погибла. Только два человека случайно вышли из окружения.

Следующая встреча — через полгода в Москве.

3.

22 октября 1942 года. Вторая военная осень.

В ресторане клуба писателей почему-то выключен свет. На улице еще довольно светло, а в большом высоком холле клуба ранние осенние сумерки все укутали в серую полутьму.

Знакомый голос, непохожий ни на какой другой :
— Александр Константинович !

Всматриваюсь, за столиком в углу сидит Б.Л. Пастернак.

Подхожу. Он вскакивает и обнимает меня. Неожиданная горячность встречи сковывает меня смущением. Но он так открыто и сердечно приветлив, что оно сразу исчезает.

Он приехал на несколько недель из Чистополя, оставив там пока семью. Сдает в издательство книгу « На ранних поездах ». Есть новые переводческие заказы. Завтра он будет читать « Ромео и Джульетту » в ВТО.

У меня завтра очень трудный день : надо получать пропуск в милиции для выезда в Свердловск, а это, по слухам, большая волокита, но я говорю, что постараюсь быть.

— Я, как всегда, только о себе и не спрашиваю о ваших делах. Впрочем, я видел на улице афишу «Давным-давно» и это мне все сказало. Я вас от души поздравляю. Когда вы пригласите меня на спектакль?

Я объясняю Б.Л., что спектакль, идущий с весны в Москве, с моей точки зрения неудачен и мне не хочется, чтобы он его смотрел. Рассказываю о спорах с режиссером Горчаковым, о наивных, прямолинейных публицистических вставках в роль Кутузова, которую отлично тем не менее играет Д.Н. Орлов. А послезавтра я еду в Свердловск, где недавно состоялась премьера в Театре Красной Армии, от которой жду очень много. У меня в кармане телеграмма от А.Д. Попова и Г.Н. Бояджиева о большом успехе спектакля.

Я знаю, что Б.Л. слушает меня не из простой вежливости. Все, что касается театра, его живо интересует. Спрашиваю про пьесу, которую он собирался писать.

Он отвечает, что не кончил ее, и даже, пожалуй, не начинал, но еще вернется к этому замыслу. Он говорит, что рад за Леонова, и за пьесу, написанную тоже в Чистополе.

Как раз в эти дни по Москве распространились слухи о звонке Сталина к Л.М. Леонову с похвалой его только что опубликованной пьесы «Нашествие». До этого звонка отношение к ней было настороженно-подозрительным. И в одну ночь все переменялось.

— Я уверен, что это отличная вещь. Чистопольский воздух располагает к работе... — говорит Б.Л. с обычной своей щедрой благожелательностью.

Распрашиваю о новой книге и попутно жалуясь, что у меня зачитали его однотомник. В этот момент загорается свет. К нашему столику подходит кто-то со свежими новостями из Советского Информбюро о последнем немецком штурме под Сталинградом.

На другой день прихожу на чтение «Ромео и Джульетты» в ВТО. Чтение происходило в Малом зале.

Я опаздываю и сажусь у входа. В перерыве подхожу к Б.Л.

— Вы пришли? Спасибо! Я вас увидел у двери и обрадовался. Вы мне напомнили нашу трудовую зиму в Чистополе и разговоры обо всем на свете. Вот, я украл для вас в доме, где ночевал. Тут я написал вам, но не читайте сейчас...

И Б.Л. передает мне свой однотомник 1935 года в светло-синей суперобложке.

Мне не терпится посмотреть и меня выручает профессор Морозов, как всегда румяный, экспансивный, многоречивый. Он завладевает Б.Л., а я выхожу на площадку и там раскрываю книгу.

Крупно карандашом на оборотной стороне портрета Б.Л. он написал:

«Александр Константинович Гладкову»

Вы мне очень понравились. На моих глазах Вы начинаете с большой удачи. Желаю Вам и дальше такого же счастья. На память о зимних днях в Чистополе и даже самых тяжелых.

Б. Пастернак
22.X-42. Москва».

Но какого же счастья мне еще нужно? Я еду на премьеру своей пьесы да еще с таким дорогим напутствием!

Возвращаюсь в зал, чтобы поблагодарить Б.Л., но профессор Морозов уже втянул его в дискуссию о каких-то семантических тонкостях текста. Они оба тесным кольцом окружены пожилыми дамами, постоянными завсегдатаями всех чток и диспутов ВТО.

Нужно ли добавлять, что однотомник был бережно уложен на самое дно моего чемодана и, что десятки раз в дороге я переворачивал его содержимое, чтобы еще раз достать и перечитать надпись.

А в Свердловске? А в Свердловске я испытал самое большое счастье драматурга — увидел свою

первую пьесу в замечательной постановке, в неподражаемом исполнении.

А еще через девять месяцев, когда театр Красной Армии вернулся в Москву, я смотрел мой спектакль вместе с Б.Л. Пастернаком и после шел с ним пешком домой душной летней ночью через весь город. Но об этом в своем месте...

В самом конце года (15 декабря 1942 года) в клубе писателей в Москве состоялся вечер новых стихов Пастернака, из готовившейся к печати книги «На ранних поездах».

Общее настроение в те дни было повышенное. Завершилось окружение немцев под Сталинградом, и окончательно провалилась их попытка деблокировать «котел». В Африке союзники заняли Тобрук и Бенгази. Французы в Тулоне потопили свой флот, чтобы не отдавать его врагу. Англичане и американцы наперебой расхваливали Красную Армию и «славянскую душу». Снова, как и в прошлом году, в это время, стало казаться, что победа не за горами. С 1-го января часы работы метро и начало комендантского часа были продлены до половины двенадцатого. Декабрь стоял мягкий, снежный. В Союзе писателей атмосфера была либеральнейшей и оптимисты считали, что время проработок и начальственных распекаций ушло навсегда.

Когда Б.Л. вышел на низенькую эстраду в большом холле клуба (где сейчас ресторан), его встретили дружные аплодисменты. Народу было много, вся литературная Москва. Значительная часть — в военной форме. Это были писатели-фронтовики, оказавшиеся в Москве проездом, или в отпуске.

Б.Л. читал стихи в приподнятом самочувствии. Обсуждение вылилось в поток приветствий и благодарности.

Мне захотелось укрепить Б.Л. в состоянии доверия и оптимизма и, попросив слова, я произнес что-то звонкое и романтически-возвышенное о том, что любовь,

которую почувствовал к себе сегодня поэт, должна быть возвращена им нам, его читателям, новыми большими и смелыми произведениями и упомянул о неоконченном романе, о замысле пьес и поэм.

Мне тоже дружно хлопали и Б.Л., отвечая, сказал, что он принимает читательский вызов, о котором говорил «Александр Константинович», как свой долг, — и он белозубо улыбнулся в мою сторону — я сидел рядом с эстрадой. Он казался обрадованным и даже растроганным.

Для полноты характеристики общего единодушия добавлю, что в конце вечера ко мне подошел грузный и широкоплечий молодой человек в военной форме и сказал, что ему очень понравилось все, что я сказал и что он вполне со мной согласен. Мы дружески пожали друг другу руки. — Я вас знаю, а вы нет, — сказал он и назвался — Анатолий Софронов, поэт...

Но в тот вечер ко мне подходили многие и еще не одну руку я пожал в самодовольной уверенности, что комплименты как оратору, были мною заслужены. Но еще больше я был, разумеется, рад за Пастернака.

Кажется, через несколько дней он уехал в Чистополь.

Книга «На ранних поездках» вышла из печати в середине лета 1943 года.

Б.Л. почему-то всегда смущал ее сравнительно небольшой размер. Он говорил, что она должна быть «по крайней мере в десять раз больше». Кроме того, ему не нравилось соединение под одной обложкой стихов середины тридцатых годов и предвоенных, «переделкинских». По его словам, где-то между этими циклами для него проходил какой-то внутренний рубеж. Для него «книга стихов», всегда была (или должна быть) чем-то целым, т. е. определенным периодом жизни, выраженным в стихах. Он жалел, что между «Вторым рождением» и «На ранних поездках» у него не было одной книги, которая могла бы объединить все написанное вплоть до конца 1936 года.

Ощущение книги стихов, как художественно-целостного явления, было свойственно Б.Л. Пастернаку всегда. По словам Н.Я. Мандельштам, когда она в 1936 и 1937 годах привозила Б.Л. отдельные стихотворения из «Воронежских тетрадей» О.Э. Мандельштама, он говорил ей о «чуде становления книги» и каждое отдельное стихотворение оценивал не само по себе, а как маленькую часть, как одно из слагаемых книги. Именно так он писал ссыльному поэту: — не о стихах, а о книге.

Из военных стихов Пастернака, некоторые из них вошли в книжку «На ранних поездах», а большая часть, с прежними вместе, собрана в следующей книге «Земной простор», я люблю самые первые, как бы примыкающие к чистому и простому циклу. «На ранних поездах» — «Бобыль», «Застава» и «Старый парк». Батальные картины не могли удаваться Б.Л. и внутренняя натяжка, с которой они писались, чувствуется в их большей сложности и, как ни странно, большей схожести с прежним Пастернаком, которого сам поэт уже давно преодолел в себе.

Я увез из Чистополя небольшой список стихов Б.Л., полученный от него самого. Он сохранился. Сравнивая его с книжкой, я увидел, что в напечатанном тексте «Старого парка» нет 4 строф, имеющих в моем варианте.

После первой строфы шло так :

Умиранье дня и лета
Прогоняет облака
Мимо окон лазарета
Минометного полка.

После нынешней пятой строфы шло :

Как бы рад, что до разрыва
Отскочил от западни
И отделался счастливо
Ампутацией ноги.

После предпоследней строфы :

Вся его мечта в театре.
Он с женою и детьми
Тайно года на два, на три
Сгинет где-нибудь в Перми.

И заканчивалось стихотворение так :

Сколько пожеланий сразу,
Сколько замыслов и дел...
Заглядишься вдаль вполглаза —
Так туда и улетел...

Выше я уже говорил, что это стихотворение связано с замыслом пьесы в прозе о войне, о которой Б.Л. мечтал в 1941 и 1942 годах. Там, по рассказу Б.Л., раненый герой тоже оказывается в лазарете, размещенном в имении, принадлежавшем его предкам. Возникновение этого сюжетного мотива связано с жизненной реалией: осенью 1941 года военный лазарет временно был размещен в Переделкине в усадьбе, когда-то принадлежавшей семье славянофила Самарина (ныне там писательский дом творчества). Один из Самариных был студенческим товарищем Пастернака и Б.Л. знал этот дом с юности. Действительно ли встретился там осенью 1941 года Б.Л. со своим старым товарищем или это только игра поэтического воображения? Разумеется, такая встреча вполне могла произойти.

Не трудно понять, почему Б.Л. отбросил первые две строфы из приведенных мною. Что же касается двух последних, то они делали стихотворение слишком лично-биографическим. Поэт приписал своему герою свойственную « мечту » — скрыться в провинции, работая над пьесой. « Вся его мечта в театре » — так мог бы Б.Л. сказать о себе самом.

Первый вопрос, который он мне задал, когда мы

с ним снова встретились в самом начале июля 1943 года, был: — «Ну, как ваши театральные дела?...» Но раньше, чем я успел ответить, Б.Л. начал говорить, что он знает, что ему повсюду попадаются афиши с моим именем, что он даже читал недавнюю статью в «Красной звезде».

За несколько дней до этого в «Красной звезде» в связи с возвращением в Москву театра Красной Армии, открывшим спектакли в филиале МХТ моей пьесой, появилась статья, начинавшаяся фразой: «Почему советские люди полюбили пьесу Александра Гладкова «Давным-давно»?... В самом вопросе уже заключалось утверждение, бывшее для меня высшей похвалой, тем более, что это было напечатано в самой популярной и любимой газете военных лет, в знаменитой «Звездочке».

Б.Л. сказал, что теперь он уже обязательно хочет посмотреть спектакль и не примет никаких отговорок. На беду заболела исполнительница главной роли Л.И. Добржанская и спектакли были отменены. Я сказал об этом и обещал держать его в курсе репертуара театра.

Мы шли с ним по улице Герцена. Солнечный день перемежался ливнями. От одного из них нам пришлось укрыться в подъезде дома на углу Мерзляковского переулка. Мы простояли в нем минут двадцать.

Я заговорил о только что вышедшей его книжке, но он как-то вяло и неохотно, и, словно бы, смущенно, ответил, что она «ничтожно мала», что противоречивость ее содержания ему не по душе и страстно заговорил о «неполноценности» своего литературного существования, вспомнив мое выступление о его «долге» на вечере прошлой зимой. Сейчас он привез в Москву законченный перевод «Антония и Клеопатры» Шекспира, и что, хотя он чувствует, что перевод удался, это его мало радует, потому, что «нельзя в такое время пробавляться переводами». Он не показался мне бодрым и уверенным, как полгода назад. Я опять по-

чувствовал в нем уже хорошо знакомое мне недовольство собой. И снова среди его планов, о которых он мне бегло сказал, на первом месте был театр.

Я рассказал Б.Л., что весной был у В.И. Немировича-Данченко, совсем незадолго до его смерти и он говорил, что с нетерпением ждет окончания Пастернаком перевода «Антония и Клеопатры», — «моей любимой пьесы», как он сказал. План ее постановки был им уже разработан.

— Теперь без Владимира Ивановича ее не поставят. Видите, как мне не везет с театром. Кажется, все хорошо, но потом вдруг что-нибудь случается...

И он с горечью вспомнил прекращение репетиций «Гамлета» в Художественном театре.

Уже тогда глухо поговаривали, что это было сделано по личному указанию Сталина, т. е. не то, чтобы Сталин прямо приказал не ставить; он просто выразил недоумение — зачем нужно играть во МХАТ'е «Гамлета»? Разумеется, этого было достаточно, чтобы репетиции немедленно остановились. Сталин был против постановки «Гамлета» вероятно потому же, почему он был против «Макбета» и «Бориса Годунова» — изображение образа властителя, запятнавшего себя на пути к власти преступлением, было ему не по душе.

Я узнал от Б.Л., что на этот раз он уже привез из Чистополя свою семью, но его квартира после суровой зимы в нежилом состоянии и, что ему пока негде жить.

— Живем временно у Асмусов, а работать хожу в комнату брата...

Он дал мне телефон обеих квартир и просил позвонить когда пойдет «Давным-давно».

Этот наш разговор был в самых первых числах июля, когда битва на Курской дуге еще не началась. Московское лето 1943 года было дождливым — (особенно его первая половина), на фронтах продолжалось затишье, которое уже стало казаться зловещим.

На московскую премьеру «Давным-давно» при-

ехал А.С. Щербаков. Я присутствовал при его разговоре с А.Д. Поповым. Когда Алексей Дмитриевич, говоря о возвращении театра в Москву, сказал, что-то вроде того, что «теперь все самое худшее позади», Щербаков как-то хмыкнул и произнес: «Не знаю, не слишком ли рано вы вернулись». Конец июня и начало июля были полны ожиданием каких-то нависших над нами событий. Полная неизвестность и загадочная пассивность немцев делали это ожидание тревожным. Судя по обмолвке Щербакова, возглавившего тогда Политуправление армии и бывшего доверенным лицом у Сталина, это настроение было всеобщим: то же чувствовали и «наверху».

Совсем недавно мне удалось прочитать некоторые письма Б.Л. Пастернака описываемого мною периода его жизни. Вот что он писал меньше, чем за месяц до его возвращения из Чистополя в Москву: «Через молодежь и театры мне хочется завести свое естественное отношение с судьбой, действительностью и войной. Я еду бороться за свою сущность и участь, потому что жалостность моего существования непредставима»... На письме дата: 10 июня 1943 года.

Это очень близко тому, что я слышал от него, хотя сама интонация его разговора со мной была иная: — я бы сказал — более оптимистическая. Меня он тогда считал счастливым, схватившим за хвост жар-птицу. Может быть мое приподнятое настроение заражало и его, или по естественному чувству такта, он не хотел вносить в него диссонанс.

Сражение на Курской дуге уже развернулось и шло с огромным ожесточением и неясным еще результатом, когда я в следующий раз встретил Б.Л.

Это было 8 июля в ВТО, где он читал «Антония и Клеопатру».

Небольшое помещение битком набито, хотя среди слушателей преобладают многочисленные дамы из ВТО и зеленая молодежь из ГИТИСА. Длинный летний вечер еще только начался, на улице совсем светло,

но в Малом зале, на верхнем этаже (там же, где он читал зимой «Ромео и Джульетту») полутьма из-за окон, наглухо заделанных фонарей. Горят лампы.

Замечаю то, что как-то не увидел при прошлой встрече, Б.Л. очень посидел с зимы. Он читает в очках, но, отрываясь от рукописи, сразу их снимает.

На этот раз он почти обходится без своих обычных пространных предисловий и объяснений. (Он только назвал пьесу «историей романа между кутилой и обольстительницей» и сказал, что, по его мнению, это самая объективная и «реалистическая» трагедия Шекспира, заставляющая вспомнить «Анну Каренину» и «Госпожу Бовари»). Читает он с заметным воодушевлением и очень хорошо.

Перевод отличен. Это еще выше «Ромео и Джульетты». Тончайшее чувство красоты подлинника, превосходный, полновесный текст.

После сцены рассказа Энобарба о Клеопатре и ее знакомстве с Антонием, в зале стихийно возникают аплодисменты.

Б.Л. радостно улыбается, снимает очки, как-то очень неловко кланяется и говорит:

— Подождите, дальше будет еще лучше...

Общий смех. Улыбается и сам Б.Л. Он снова надевает очки и читает дальше.

В прозаических кусках Б.Л. несколько наивно наигрывает и старается читать «по-актерски», что ему, конечно, плохо удастся. Пожалуй, это было бы немного смешно, если бы не его доверчивое артистическое обаяние. В трагических местах он сам трогательно волнуется и читает превосходно.

В зале душно. Только что прошла гроза, но открывать окна нельзя. Объявляется перерыв.

Я пробираюсь к Б.Л. Он говорит, что не заметил меня, хотя и «привычно искал глазами» и снова неожиданно начинает говорить о моей речи на его вечере и о том, что он «не оправдывает надежд» и вот, «снова привез в Москву не оригинальную рабо-

ту». Я хвалю перевод. Он благодарно улыбается и спрашивает: не выздоровела ли Добржанская?

Не забудьте же мне позвонить, когда пойдет спектакль...

Рядом суетливо вертится Крученых со своим неизменным портфелем, из которого он достает чернильницу и ручку, прося нас обоих расписаться в какой-то тетради.

Но вот, чтение продолжается. В сцене пира на галере Помпея, Б.Л. сам первый неожиданно смеется на словах «Любопытная гадина!» и все смеются вместе с ним. Сцену смерти Клеопатры и финальные сцены все слушают, затаив дыхание...

Конец. Бурные аплодисменты. Все встают, продолжая аплодировать. Пастернак снимает очки и, улыбаясь, кланяется.

Аплодисменты не стихают. Крученых взгромождается на стул и что-то выкрикивает. Я зажмуриваюсь в ожидании какой-нибудь бестактности. Но все обходится сравнительно благополучно. Крученых провозгласил экспромт:

Такое Шекспиру не сразу приснится:

Пройдет Клеопатра с твоей колесницей...

Новые аплодисменты. Крученых доволен. Пастернак снисходительно и смущенно улыбается. Он уже окружен толпой дам.

Выхожу на улицу очищенным электрическими разрядами истинного искусства. Воздух после грозы свеж. Зелень на бульварах неопишима. Домой не хочется, долго сижу на скамейке у памятника Пушкину. Где-то вдалеке в радиорепродукторе звучат уже завоевавшие известность песенки из «Давным-давно». Мне приходит в голову, что может быть их слышит Б.Л., тоже возвращающийся сейчас домой.

Наконец, Добржанская выздоровела и спектакли возобновились. Но мною уже овладели сомнения: нужно ли звонить Пастернаку? Может быть это только обыкновенная любезность — просьба позвать его на

мою пьесу? Я колеблюсь, сомневаюсь, раздумываю, пока не встречаю его самого в писательском клубе.

С утра идет дождь, но он в светлых парусиновых брюках, забрызганных снизу грязью, и белых брезентовых туфлях, совершенно промокших.

Он спрашивает меня, почему я ему не звоню. Он видел в газете объявление о спектакле.

Сговариваемся на субботу. Это будет 31 июля, т. е. послезавтра. Я должен занести ему билеты утром на квартиру его брата.

Записываю адрес. Оказывается, что это в том же переулке, где живу я, в бывшем Большом Знаменском, недавно переименованном в улицу Грицевец, в честь погибшего на войне летчика.

Дождь продолжает лить и мы стоим некоторое время в подъезде, ожидая когда он стихнет, и говорим о последних военных новостях: о нашем победном наступлении под Орлом, о падении Муссолини и его аресте, о народных демонстрациях в Милане. Я рассказываю ему про странную и неожиданную реакцию зрителей на идущем сейчас в Москве американском фильме «Миссия в Россию» — полном политических наивностей, встречаемых дружным смехом. Голливудская историко-драматическая хроника воспринимается у нас, как веселая комедия.

И вот наступает этот день 31 июля. В одиннадцатом часу утра с двумя билетами в кармане и книжкой «На ранних поездах», которую хочу попросить Б.Л. мне подписать, я отправляюсь к нему.

Сколько раз я проходил мимо этого странного полустеклянного дома в стиле «Корбюзье», выходящего сразу и в переулок на крутом сгибе и на Гоголевский бульвар.

Я неверно записал номер квартиры и не без труда нахожу ее. Внутри дом совсем не так импозантен, как снаружи: грязные лестницы с обвалившейся штукатуркой, тоскливый кошачий запах. Окна заделаны фанерой. Натыкаюсь на ведро с песком. Звонок не

работает. Стучу. Дверь открывает сам Борис Леонидович.

Он проводит меня в узенькую комнатку с окном, выходящим на бульвар. Здесь живет брат его архитектор.

На письменном столе стопка старых книг Б.Л. Он мне объясняет, что по предложению Чагина составляет небольшой сборник избранных произведений. В него должно быть включено все «самое описательное» как он говорит. Скоро выходит из печати «Ромео и Джульетта». Ему еще предлагают перевести «Отелло» и «Макбета»... кажется.

— Но я не решил, возьмусь ли. Пора кончать с переводами. В конце концов это суррогат настоящей деятельности. Вы были правы тогда, на вечере.

Я говорю ему, невольно впадая в его манеру, что я сказал это вовсе не для того, чтобы дать ему в минуты недовольства собой оружие против самого себя, что это было не упреком, а лишь пожеланием и т. д. ...

— Да, это все именно так, и все же вы были правы. Вы сказали больше, чем имели в виду, и я вам за это благодарен...

Я прошу его постараться не опоздать, и оставив билеты, и книжку (он обещал мне вернуть ее на спектакле), ухожу, чтобы ждать вечера, считая минуты.

— И вот — вечер. Впрочем, по летнему счету времени до вечера еще далеко. Спектакли в то лето начинались в половине седьмого, и в шесть часов я уже торчу у входа в парк ЦДКА, где в помещении летнего театра играет ЦТКА. За день четыре раза начинался ливень, но потом снова проглядывало солнце, а сейчас совершенно чистое небо. Почти жарко.

Б.Л. приходит в двадцать минут седьмого. Он один. Я уже не помню с кем он собирался придти и что этому помешало. Он возвращает мне второй билет,

а я внутренне ликую. Теперь я смог сесть рядом с ним и разговаривать все три антракта.

Я уже писал выше, каким удивительно-непосредственным, детским восторженным театральным зрителем был Б.Л. Те, кто видели «Давным-давно» в ЦТКА с первым составом исполнителей, где концертно играли Добржанская, Пестовский, Коновалов, Хохлов, Хомяков, Ратомский, Шахет, Ходурский, помнят, как его «принимал» зрительный зал и в этот вечер наверно самым наивным увлеченным зрителем был Б.Л. Пастернак. Он громко смеялся, восклицал: «Чудесно!» и «Прекрасно!», присоединялся ко всем взрывам аплодисментов, которые часто возникали среди действия: он смотрел спектакль с полной зрительской отдачей, с напряженным вниманием и все же не упускал из виду и взволнованного автора, сидевшего рядом, и часто поворачивался к нему, как бы приглашая разделить свой восторг.

В первом антракте он достал из кармана книжку «На ранних поездках» и отдал мне. Улучив минуту, я посмотрел.

На обратной стороне титульного листа размашисто во всю страницу было написано карандашом:

«Милому Александру Константиновичу Гладкову, молодой и быстро растущий успех которого мне близок и дорог.

Б. Пастернак».

31. VII. 43 г.

Я слишком волновался в этот вечер, чтобы подробно запомнить все, о чем мы говорили с Б.Л. в антрактах и по дороге домой. И в этот вечер я ничего записать не мог. Когда вернулся, меня буквально сковала страшная усталость. Ко всему прочему, мы с Б.Л. всю обратную дорогу шли пешком — от площади Коммуны до Кропоткинской. Кое что записал на другой день.

Я не сомневался, что спектакль ему понравится.

К этому времени успех его стал очевидностью, которая была уже независимо от меня и переросла меня с быстротой, иногда пугавшей. Если уже на спектакле начинали счастливо и самозабвенно улыбаться хмурые и натянутые политработники, если капельдинеры стояли в проходах, смотря его в бесчисленный раз, если от угла улицы Дурова спрашивали: «Нет ли лишнего билетика», — то за доверчиво-благодарного и благожелательного ко мне Б.Л. я мог быть спокоен. Волновался я не от сомнений, которых не было, а от редкого по своей полноте и непременности ощущения исполнения желаний. Я пишу не о себе, а о Пастернаке и не стану на этом задерживаться. Я думаю мне поверят, если я скажу, что это был один из счастливейших вечеров в моей жизни.

После окончания спектакля Б.Л. снова взял у меня книжку «На ранних поездках» и приписал на обратной стороне обложки:

«Гладкову от свидетеля его торжества с радостью и любовью»...

И вот мы идем с ним по ночной военной Москве.

Цветной бульвар, Неглинная, площадь Свердлова, Моховая.

Уже нет полного затемнения. На главных магистралях блещут слабые цепочки фонарей, светящих в одну пятую своего накала. Полуосвещены трамваи и иногда машины фарами прорезают синюю июльскую темноту. Высоко в воздухе шевелятся странные силуэты азростатов воздушного заграждения. Их поднимают как раз в это время, когда оканчиваются спектакли. Днем их серебристые туши похожи на гигантских мифологических животных, мирно пасущихся на траве скверов, а сейчас в воздухе они кажутся таинственными и грозными.

Идти домой пешком предложил Б.Л. Он говорит, а я слушаю.

— Вы счастливец и сами этого не понимаете... (Я не спорю, но мне кажется, что в этот вечер я понимаю).

Вы счастливец и сегодня я вам завидую... Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что в этой пьесе у вас почти отсутствует пустое, незаполненное пространство между замыслом и исполнением. Я и раньше догадывался, что это хорошая пьеса, но вполне ее оценил только сегодня. Помнится, я к вам в чем-то придирался. Забудьте все мои критические замечания. Думать о них сейчас так же странно, как после выигранной битвы сожалеть о чернильной кляксе, поставленной на топографической карте перед сражением... Я сам постоянно мечтаю об успехе в театре: и мне мерещится именно то, что я увидел сегодня: полный захват зрительного зала, его счастливые вздохи и затаенное дыхание. Самые плохие рассказчики те, кто боится, что им могут не поверить. Вы доверчиво и смело ведете свой рассказ со сцены и вам верят совершенно. Вы работали с Мейерхольдом. Вы этому научились у него или это прирожденное свойство? Даже, если бы вы не рассказывали мне раньше, как вы писали эту пьесу, я все равно угадал бы, что она написана быстро. Такие счастливые вещи всегда пишутся быстро. Мне всегда казалось, что удача каждой работы уже бывает заложена в самой первой мысли о ней. Так и у вас. Правда? (Я признаюсь Б.Л., что теперь мечтаю писать прозу). Нет, нет, пишите для театра. Это редкий вид дарования и я много дал бы чтобы им обладать...

Мы говорим о театре поэтов, я рассказываю Б.Л. о заносчивом авторском предисловии М. Цветаевой к замечательной ее пьесе «Конец Казановы», где она противопоставляет театр поэзии и утверждает, что не любит театр и не тянется к театру. Б.Л. не читал этой пьесы и не знаком с ее предисловием.

— Она так говорила и все же написала несколько пьес. Вы сами свидетельствуете, что это превосходная пьеса. Марина была женщина и иногда говорила что-то только для того, чтобы услышать немедленное возращение...

Б. Л. восхищается блоковским замыслом пьесы, как он называл ее, о фабричном возрождении России. Замысел пьесы о Христе ему, напротив, кажется «Интеллигентским либеральным кощунством». Он говорит, что примирился бы с ним, будь в нем больше крови и страсти, хотя бы в отрицании...

Он возвращается к своей работе над Шекспиром.

— Я устал от переводов и должно быть несправедлив по отношению к тому, что мне дала эта работа. Материально, она просто напросто меня спасала, а когда-нибудь я пойму и то, чему и сам научился у этого гиганта. Самое удивительное в нем то, что он, как поэт, обладал непостижимой для нас внутренней свободой, хотя она и уживалась со множеством предрассудков и суеверий. Он верил в ведьм, но больше всего дорожил этой свободой, а мы не верим в ведьм, рассматриваем в микроскоп клетку, но не свободны ни в чем. Несправедливость нуждается в обиняках, а правда, естественно, немногословна. Самые короткие слова на свете: «Да» и «Нет». Я мечтаю о пьесе, ритм которой был бы так же естествен, как люди, говорящие «да» и «нет», а не «видите ли» или «знаете ли»...

Возвращаемся к тому, о чем невозможно не говорить в эти дни, к войне... Мне показалось, что Б.Л. настроен более радужно, чем в первые дни после приезда из Чистополя, я не помню за все время войны другого такого периода, полного самых светлых надежд и лихорадочного ожидания победы, как конец лета 1943 г. Красная Армия, отбив наступление под Курском, наступала на Орел. Союзники уже орудовали в Сицилии. Рухнул режим Муссолини. Уверенно-радостное настроение было общим. Оно не могло не заразить и Б.Л. И обычное для него острое недовольство собой выражалось в сильно преувеличенном ощущении, что то, что он делает, слишком мало перед гигантскими усилиями страны. У меня осталось впечатление о

глубокой искренности Б.Л., когда он начинал говорить о своем долге поэта перед жизнью.

Личные стратегические планы его были таковы: добиться постановки одного, или нескольких из своих переводов шекспировских трагедий на сцене и тем самым войти в непосредственный контакт с театрами. Написать свою пьесу. Написать реалистическую поэму (он говорил «роман в стихах») о войне и военном быте. У него уже были готовы фрагменты первой главы — рассказ о том, как фронтовик возвращается домой, а так же и некоторые другие. В сборнике «Стихотворения и поэмы» 1961 года напечатано несколько отрывков под общим заглавием «Зарево», которые являются небольшими частями этой поэмы, написанной тем же размером и стилистически однородной с ним. У меня сохранился список начала этой поэмы, полученной от Б.Л. (только не помню, когда — в 1943 г., или позднее). Помню еще, что он однажды назвал ее «Некрасовской», видимо, имея в виду густоту быта, житейскую разговорность интонаций и сюжетность. Когда уже в конце войны я спросил как-то Б.Л. о судьбе поэмы, он мне ответил, что ему писать ее «отсоветовал Фадеев, пришедший в ужас» от реализма изображения противоречий и неустойчивости военного быта. Именно в это время Фадеев утверждал, что советские писатели должны учиться не у Чехова, а у Тургенева. Связь одного с другим очевидна.

Вот отрывок напечатанного стихотворения «Зарево» и рядом отрывок из ненапечатанных глав поэмы. Кстати, в моем списке она тоже называется «Зарево».

Напечатано :

Нас время балует победами,
И вещи каждую минуту
Все сказочнее и неведомей
В зеленом зареве салюта...
В пути из армии нечаянно
На это зарево наехав,

Встречает кто-нибудь окраину
В блистании своих успехов...
Пока мечтами горделивыми
Он залетает в край бессонный,
Его протяжно, с перерывами,
Зовет с дороги рев клаксона.

Я привел начало, середину и конец, выпустив 10 строк. Теперь из ненапечатанной поэмы :

Его переродило порохом.
Как все он омоложен риском.
Он охладел к машинным шорохам
И треснувшим горшкам и мискам.
Он не изменит правам воина,
Бесстрашью братии бродячей,
Лесам, стоянке неустроенной,
Боям, поступкам наудачу...
« Дай мне уснуть. Не разговаривай.
Нельзя ли, право, понормальней ».
Он видит сон, лесное зарево
С горы заглядывает в спальню.
Он спит и зубы сжаты в скрежете.
Он стонет. У него диалог
С какой-то придорожной нежитью.
Его двойник смешон и жалок...
Из кухни вид. Оконце узкое
За занавескою в оборках,
И ходики, и утро русское
На русских городских задворках.
И золотая червоточина
На листьях осени горбатой,
И угол, бомбой развороченный,
Где лазали его ребята...

Не нужно обладать исследовательской интуицией
Кювье, чтобы по этим разрозненным фрагментам
угадать целое. В самом замысле поэмы была открытая

полемика с лжеискусством годов культа Сталина. Поэт и не думал этого скрывать.

... В искатели благополучия
писатель в старину не метил.
Его герой болел падучей,
Горел и был страданьем светел.
Мне думается, не прикрашивай
Мы самых безобидных мыслей,
Писали б, с позволенья вашего,
И мы, как Хемингуэй и Пристли.
Я тьму бумаги перепачкаю.
И пропасть краски перемажу,
Покамест доберусь раскачкою
До истинного персонажа.
Зато без всякой аллегии
Он — зарево в моем заглавьи,
Стрелок, как в песнях Черногории,
И служит в младшем комсоставе...

(Цитирую по списку, полученному от Б.Л.).

Мудрено ли было Фадееву не «придти в ужас». Он, положивший свой незаурядный талант и жизнь на службу сталинскому культу и защищавший его не за страх, а за совесть, отговорил Б.Л. продолжать работу над поэмой. Это был один из тех компромиссов с собственной творческой правдой, которых Пастернак в более поздние годы стыдился. Я рассказываю об этом так подробно потому, что для многих непонятно и необъяснимо, как «чистый лирик» Борис Пастернак, несравненный пейзажист и тончайший психолог, пришел к произведениям последних лет. Не знавшим этих попыток прямого и откровенного разговора с современностью, а некоторые даже решились обвинять его в «двойной жизни», которую он будто бы раньше вел. Никакой двойной жизни не было. История неоконченной и ненапечатанной поэмы «Зарево» говорит об этом со всей очевидностью.

В годы войны Б.Л. не только переводил Шекспира и иногда писал стихи, он так же работал над современной пьесой и современной большой поэмой. Он жил все это время не в башне из слоновой кости, а в тесных, нетопленных комнатах, как жили все. Я никогда не замечал в нем никакого артистического выскомерия. Однажды он сказал:

— Читаю Симонова. Хочу понять природу его успеха... В другой, я услышал от него восторженный отзыв о первых главах «Василия Теркина». Ему нравилось «Народ бессмертен» Василия Гроссмана. Он ездил на фронт вместе с А. Серафимовичем и Р. Островской — в августе 1943 г. Если он избегал читать газеты, то не потому, что хотел отгородиться от злободневности, но потому, что он не мог переносить ту сладкую риторическую кашу, из которой эту злободневность нужно было вылавливать. За годы войны я не помню ни одного разговора с ним, когда бы мы не перебирали известий с фронтов и из кабинетов дипломатов.

В своей записи о ночном разговоре 31 июля 1943 г., после театра, я с естественным эгоцентризмом молодости, подробно занес почти все, что он говорил о спектакле и только тезисно остальное. Рассказывая о поэме «Зарево» я вовсе не отвлекаюсь в сторону, а расшифровываю свою тогдашнюю запись: «Говорил об его поэме». Мне трудно датировать, когда именно он оставил работу над ней. Кажется, это случилось в конце 1943 г., или в начале 1944-го. Но тогда он еще числил ее в списке своих главных работ, как пьесу в прозе о войне, и мечтал, разделившись с переводами, целиком посвятить себя им.

Описывая прогулку по Москве в ту памятную для меня июльскую ночь, я сейчас спрашиваю себя: Не был ли я слишком опьянен собственным успехом и похвалами Б.Л. и не переносу ли я на него свое настроение, в котором было что-то от телячьего восторга, — и отвечаю себе — нет. Я бы не мог не

почувствовать диссонанс и я наверно записал бы об этом. Я уже довольно хорошо знал Б.Л. и мне случалось угадывать его настроение еще раньше, чем он заговаривал. Помню его в эту ночь бодро возбужденным, дружески ласковым, веселым. Само предложение — идти пешком, — говорит об его душевном состоянии.

Мы довольно энергично отмахали, оживленно разговаривая, всю немалую дорогу до Кропоткинской площади. Он шел ночевать к брату. Я проводил его до дома.

— Помните наши длинные прогулки вдоль Камы? Я иногда скучаю здесь по ним, — сказал он, прощаясь. — Спасибо за вечер! Желаю вам новых успехов.

Он вошел в темный подъезд, а я, расставшись с ним, пожалел, что мне до дому меньше квартала. Хотелось еще куда-то идти, о чем-то говорить, читать стихи. Но, придя домой, я мгновенно заснул, даже не дотронувшись до дневника.

Когда Б.Л. что-то нравилось, то он был необычайно щедр и царственно расточителен в своих похвалах. Я почти не помню его отрицательных оценок. Он или молчал, или хвалил. Всего равнодушнее он, как это ни странно, относился к тому, что могло показаться сделанным под его влиянием и близким к себе и, наоборот, очень часто восторженно говорил о стихах или прозе далеких и даже полярных своей личной манере. Хорошо помню его хвалебный отзыв о «Василии Теркине». Он называл поэму Твардовского «чуждом полного растворения поэта в стихии народного языка».

Однажды на литературном вечере он должен был читать после Павла Васильева, прочитавшего известное стихотворение «К Наталье». Б.Л. им был так пленен, что, выйдя на эстраду, заявил аудитории, что считает неуместным и бестактным что-либо читать после этих «блестящих стихов». Вспоминая бурный расцвет молодого П. Васильева, он однажды сказал

мне (еще в Чистополе), что после гибели Васильева больше ни у кого не встречал такой буйной силы воображения. Я, несколько знавший лично П. Васильева и с иной поэтической стороны, пытался с ним спорить, но Б.Л. настаивал на самой лестной оценке поэта.

Такой же почти восторженный отзыв Б.Л. дал стихам П. Васильева, когда у него попросили характеризовать погибшего поэта для его посмертной реабилитации в 1956 г. Мне кажется, что Пастернака даже как-то тянуло ко всему тому, в искусстве, что было далеко от его индивидуальности, что он особенно это ценил, или как он не стеснялся говорить — «завидовал». Конечно, это была совсем особая, высокая творческая зависть, которую точнее можно назвать стремлением к широте возможностей.

Я имел возможность прочитать письма Б.Л. к О.Э. Мандельштаму. Приведу несколько выдержек — они очень интересны.

В письме 1924 г. Пастернак пишет: «Мне в жизни не написать книжки, подобной «Камню». И как давно это сделано и сколько там в тиши и без шума понаоткрыто америк, которые потом продолжали открываться с большой живописностью только от того, что сопровождалась плутанием у самой цели и провалами в Сарагоссовых морях, с плеском, бултыханием и всеми прелестями водолазных ощущений, всегда импонирующих, как паровозы и полисмены в фильмах»... В том же письме «Что хорошего нашли Вы во мне?»... В другом письме (1928 г.) после выхода «Избранного»: «Совершенство ее (книги О. Мандельштама. А.Г.) и полновесность изумительны и эти строки — одно лишь восклицанье восторга и смущенья»... Такой же восторженный отзыв получила в письме Б.Л. книга О. Мандельштама «Шум времени».

Высказав свой восторг, Б.Л. спрашивает: «Отчего вы не пишете большого романа? Вам он уже удался. Надо только его написать». В начале 1937 г., позна-

комившись в рукописи с «Воронежскими тетрадами», Б.Л. пишет находящемуся в ссылке поэту: «Ваша новая книга замечательна»... — И дальше: «Я рад за вас страшно. Вам завидую. В самых счастливых вещах (а их немало) внутренняя мелодия предельно материализована в словаре и метафорике и редкой чистоте и благородстве»... «Где я, что со мной дурного?» в этом смысле поразительно до подлинности выражения»...

Способность восхищаться и удивляться, творчески сопереживая чужое (и иное, чем у него самого) искусство, исключительное отсутствие узости в восприятии, странно и обаятельно сочетались у Б.Л. с преувеличенно резкими оценками, сделанного им самим. Я уже приводил здесь высказывания Б.Л. о своем «хлестаковстве». О том, что все написанное им до конца тридцатых годов слабо и приблизительно и тому подобное. Я слышал мнение, что эта черта самоуничижительности появилась в Б.Л. только с приближением старости и пережитым им внутренним кризисом? Это не так. В тех же письмах к О.Э. я нашел такое место: «Сейчас правил ремингтонный список «Спекторского» и дал себе слово не видеть правды. Он скучен и водянист, но я буду сдерживаться»... (из письма середины 20-х годов).

В одном из моих последних разговоров с Б.Л., при случайной встрече в Переделкине (далее я вернусь к этому), уже после того, как роман «Доктор Живаго» был написан и вскоре должен был выйти в Италии, Б.Л. с тоской говорил мне о том, что он предвидит, что впечатление от романа вероятно заставит зарубежных издателей «вытащить из небытия и начать переводить все, что я успел пролепетать и накарять в годы, когда я не умел еще ни писать, ни думать, ни говорить и больше того, старался этому не учиться...» Говоря так, Б.Л. имел в виду не только «Близнеца в тучах», но и «Сестру мою жизнь», и «Поверх барьеров» и поэмы 1905 года и почти все остальное. Говоря о

поэмах, он сетовал на их «пустоту и многословность». Выслушивая подобные самооценки, сначала, еще в Чистополе я ужасался и становился в тупик, и лишь после того, как близко познакомился с Б.Л. и привык к нему, стал уметь соотносить их с основными чертами характера — с необычайной скромностью и небывалой самотребовательностью. Г.О. Винокур — один из умнейших людей, которых я встречал, хорошо знавший и любивший Б.Л., как-то когда речь зашла об этой черте, усмехнувшись, сказал мне, что его скромность связана с редким осознанным чувством достоинства, — я не знаю, где кончается скромность и где начинается высокое самолюбие, — сказал Г.О. Может быть это и так, не очень просто разобраться в таком сложном человеке, как Б.Л. Пастернак.

Кажется, поздней осенью, или в начале зимы 1943 г. в клубе писателей состоялся необычный вечер. Известные и маститые поэты должны были прочитать свои первые стихи. Помню выступления Каменского, Сергея Городецкого, Антокольского, Асеева, Дм. Петровского, Эренбурга, кажется Тихонова. Большинство выступавших читали свои ранние стихи с высокомерной улыбкой нынешнего превосходства над ними, иногда почти на грани шутовства. Только Эренбург прочитал очень далекие от него сегодня юношеские стихи с покоровившим всех уважением к своему прошлому. Когда же очередь дошла до Пастернака, он после того, как председатель вечера назвал его имя, стал отказываться читать вообще, но потом в ответ на аплодисменты и крики «просим!», сказал, что он тогда уж лучше прочтет свои последние стихи, потому что старые вещи ему читать не интересно. И он прочитал несколько военных стихотворений и большой отрывок из поэмы, о которой я уже рассказывал.

Перед этим, в начале октября (7-го) я случайно встретил его на Полянке. Он был в поношенном макинтоше, в нелепой широкополой шляпе и с рюкзаком за плечами. Спросил меня о моей пьесе и сказал, что

хотел бы еще раз посмотреть «Давным-давно» (Я принял это за жест любезности и не решился позвонить ему, чтобы напомнить об этом). Больше всего я боялся показаться навязчивым и от этого может быть казался иногда не очень внимательным. Сказал, что ему все еще негде жить и он продолжает «обременять Асмусов». На мой вопрос, чем он теперь занимается, ответил, что «собирается, наконец, начать писать для себя», т. е. по договорам. Когда мы прощаемся, он без всякой связи с предыдущим, вдруг говорит, что «в Чистополе мы все-таки жили хорошо. Я сужу об этом уже хотя бы потому, что мне всегда приятно вас видеть»... Еще при этой встрече он сказал мне, что на-днях у него будет напечатан отрывок из поэмы в «Правде» (Это было «Зарево». «Правда» 16 октября 1943 г.).

3-го ноября мы встретились на генеральной репетиции 8-й симфонии Шостаковича в Большом зале консерватории. Мое место случайно оказалось как раз сзади него — он сидел в шестнадцатом ряду, около прохода. Перед началом Т. Хренников сказал мне, что по слухам наши войска ворвались в Киев. Когда я вошел в зал, Б.Л. уже сидел. Я наклонился к нему, и поздоровавшись рассказал об этом. И отлично помню, как он воскликнул: — Что вы говорите? Поздравляю вас! — Все мы жили тогда вестями с фронтов и Б.Л. тоже. Новость, впрочем, оказалась преждевременной: о взятии Киева было сообщено только в канун праздника — 6-го ноября.

В 1943 и 1944 годах стихи Б.Л. довольно часто печатались в газетах. «Правда» напечатала «Зарево». В «Красной звезде» появились: «Смерть сапера», «Преследование», «Летний день», «Разведчики», «Неоглядность». В «Литературе и искусстве» — «Зима начинается» и т. д. Вышел из печати перевод «Ромео и Джульетты» и готовились книжки «Земной простор» и небольшой сборник избранных стихотворений и поэм (вышли уже в 1945 г.).

Находящийся в одном из колымских лагерей мой брат написал мне, что он получил там драгоценный подарок. Товарищ по несчастью, поэт и критик Игорь Поступальский подарил ему в день рождения истрепанную книжку стихов Пастернака. Я не удержался и рассказал об этом Б.Л. На него это произвело большое впечатление: он стал меня расспрашивать о брате и о его судьбе. Разговор был в трамвае, к нам прислушивались, и меня это связывало. Но Б.Л. не понижая голоса, задавал все новые и новые вопросы. — Спасибо за то, что вы мне сказали. Мне это очень нужно. Спасибо ему за то, что он об этом написал. Спасибо им всем, что они меня помнят... Он взволновался и не раз после вспоминал об этом разговоре, при каждой встрече спрашивая о брате.

В конце августа 1944 г., вернувшись со 2-го Украинского фронта, располагавшегося уже на территории Румынии, я встретил Б.Л. в ресторане клуба за обедом. Он расспрашивал о моих впечатлениях и почти ничего не рассказывал о себе. Сказал только в ответ на вопрос, что над поэмой не работает, а заканчивает перевод «Отелло». Я спросил его: не хочет ли он перевести всего Шекспира и он пошутил на эту тему. Я спросил о пьесе. Он махнул рукой.

11-го ноября снова встретил его на Пятницкой. Я возвращался из дома в Лаврушинском переулке, он шел туда. Я повернулся и пошел его провожать и мы еще минут двадцать стояли у подъезда и разговаривали. Он уже закончил «Отелло» и снова клялся, что больше не возьмет переводов. Я опять задал вопрос о поэме. Вот тут-то он мне и сказал, что читал Фадееву и тот не советовал ее продолжать. Он помолчал, усмехнулся и добавил, что у него на выходе две книги и пока не стоит рисковать их судьбой. До этого у Б.Л. еще не было случаев, когда рассыпали по приказу свыше набор готовой книги: это ему только предстояло. Говорили еще о разных злобах дня: о переизбрании Рузвельта в четвертый раз президентом, о боях

под Будапештом, о замене в Малом театре Судакowa Провом Садовским после разгромной статьи в «Правде», о постановке толстовского «Грозного» («Вот видите, как мне везет — говорил Б.Л., — Судакow собирался ставить весной «Ромео и Джульетту»), о новой книжке Шкловского «Встречи», обезображенной придирчивой редактурой и цензурой (из нее выброшены большие куски о Зощенко, Шостаковиче и изобретателе Костикове, в связи с какой-то связанной с ним неблагоприятной историей, зашифрован Джембул и вообще от книги остались рожки, да ножки). Говорим о слухе, что решен вопрос о нашем вступлении в войну против Японии. На этот раз Б.Л. меньше, чем когда бы то ни было, показался мне отрешенным от окружающей жизни и я даже пошутил на эту тему, сказав что он не оправдывает своей репутации небожителя. Он рассеянно улыбнулся.

В начале февраля 1945 г. вышла книжка «Земной простор». Нового в ней было мало: тот же состав стихотворений, что и в «На ранних поездках» с добавлением нескольких о войне. Цензура вторично сняла стихотворение «Вальс с чертовщиной», в котором детскими глазами описана рождественская елка: вероятно за слово «чертовщина». Впервые это стихотворение было помещено в сборнике 1961 года. Книжка была напечатана на очень скверной бумаге и Б.Л., как-то мельком встреченный в клубе, сказал, что у него к ней «физическая неприязнь».

В 1945 и 1946 г. я редко встречал его. Кончилась война, но первые послевоенные годы были трудными и в бытовом отношении и еще, главным образом, потому, что уже нечего было ожидать так, как мы ожидали победу. Ставский, попавший под конец в немилость к Сталину, погиб на фронте, но Скалозубов нашлось много и без него. «Культ» приобретал все более откровенную и отталкивающую форму. Были исключены из союза писателей Ахматова и Зощенко. Пресс сталинского произвола становился тяжелее с

каждым месяцем. Даже у благополучного и умеренного Федина была разругана вторая часть воспоминаний о Горьком.

Пастернак большей частью жил в Переделкине, где я бывал редко. Прежние случайные встречи прекратились. Искать самому этих встреч не хотелось: настроение у меня тоже было неважное. Одна из моих комедий попала в список пьес, снятых с репертуара. Раньше как-то повелось, что в беседах с Б.Л. я был всегда заядлым оптимистом: теперь эта роль была бы смешна и фальшива, а нытиков на людях и паникеров я сам не терпел. Все думалось: скоро что-то разъяснится и будет приведено в норму. Разум не мирился с произволом, как системой. По-прежнему каждое его проявление казалось или недоразумением, или злосчастливым стечением обстоятельств. Искали логики в бессмысленности и оправдывали неоправдываемое. Б.Л. считал меня счастливецом и удачником и я не желал, чтобы он видел меня расстроенным и потерявшим уверенность.

Косвенным путем до меня долетали слухи о нем и его настроении. Однажды, неизменно жизнерадостный профессор Морозов с восторгом прочитал мне экспромт Б.Л.: «Я под руку с Морозовым, Вергилием в аду, все вижу в свете розовом и воскресенья жду». М. Морозов — известный шекспировед был поклонником переводов Б.Л., писал о них статьи и комментировал).

Не очень веселая ирония здесь слишком очевидна. В другой раз А.Е. Крученых показал мне присланное ему ко дню рождения стихотворное поздравление от Б.Л. В нем были и такие строфы:

Я превращаюсь в старика,
А ты день ото дня все краше.
О, боже, как мне далека
Наигранная бодрость ваша!
Но я не прав со всех сторон.

Упрек тебе необоснован.
Как я, ты роком пощажен,
Тем что судьбой не избалован.
И близкий правилам моим,
Как все, что есть на самом деле,
Давай-ка орден учредим
Правдивой жизни в черном теле !...

Стихи помечены концом февраля 1946 года. Некоторая шутильная небрежность не помешала здесь прорваться самым серьезным мыслям поэта, к которым он впоследствии возвращается не раз и в стихах и в прозе. («Быть знаменитым некрасиво» и «Автобиография»).

Эти годы — 1945 и 1946 — будущие биографы Пастернака вероятно назовут эпохой его глубокого душевного перелома. Гадательно — события его внутренней жизни происходили так: острое и мучительное сознание творческого тупика (неудачи с поэмой и с театрами), дошедшее до крайности недовольство собой, и, как выход, решение вернуться к давно начатому, но оставленному роману в прозе, значение которого для своей литературной судьбы Б.Л. внутренне необычайно преувеличивал, и после завершения работы над ним, называл единственным трудом своим, которого он не стыдился.

В другом письме к тому же адресату Б.Л. пишет: «Я немного писал своего нового, но теперь буду больше роман в прозе, охватывающий время всей нашей жизни не столько художественной, сколько содержательной...» Дальше он пишет: «Связи мои с некоторыми людьми на фронте, в залах, в каких-то глухих углах и в особенности на западе оказались многочисленнее, прямее и проще, чем я мог предполагать в самых смелых мечтаниях. Это не бывало и чудодейственно упростило и облегчило мою внутреннюю жизнь, строй мыслей, деятельность, и так же сильно усложнило жизнь, внешнюю. Она трудна, в особенности потому, что от моего было миролюбия и компо-

нентства не осталось и следа. Не только никаких Тихоновых и большинства Союза нет для меня и я их отрицаю, но я не упускал случая открыто и прямо заявлять. И они, разумеется, правы, что в долгу у меня не остаются. Конечно, это соотношение сил неравное, но судьба моя определилась, и у меня нет выбора»... Письмо не датировано, но в нем Б.Л. сообщает о смерти отца, известного художника Л.О. Пастернака. Он умер в середине 1945 года, следовательно, письмо всегда можно отнести ко второй половине этого года.

Не обязательно всегда искать прямых соответствий между стихами поэта и жизненными обстоятельствами, но иногда они напрашиваются. Высказанное Б.Л. в письме кажется прозаическим «подстрочником» неизвестных строк из «Гамлета», написанного в то же самое время:

... Но продуман распорядок действий
И неотвратим конец пути...

Я лично от него услышал, что он вернулся к работе над романом в прозе при случайной встрече на Моховой, близ станции метро в последние часы 31 декабря 1945 года. Я спросил — является ли этот роман тем самым произведением, несколько отрывков из которого он напечатал в «Литературной газете» еще в середине тридцатых годов под заглавием: «Из романа о 1905 годе». Он ответил, что кое-что из написанного пойдет в роман, но что замысел его очень изменился. И далее он сказал странную фразу, которую я тогда записал буквально: «Я пишу этот роман о людях, которые могли бы быть представителями моей школы — если бы у меня такая была...» Сказав это, он как-то по своему, по-пастернаковски, полусмущенно улыбнулся. Было тепло. Легкий снежок занес его воротник и шапку. К нему это очень шло. Я напомнил, что ровно четыре года назад в это время

я зашел к нему в Чистополе, а он лежал с прострелом и читал Гюго о Шекспире.

— Неужели прошло четыре года?

— Вам кажется это мало или много?

— И много, и мало, — сказал он. — Много пережито и мало сделано.

Вокруг нас суежилась предпраздничная толпа. Не похоже было, что он торопился. Но нас толкали, мы всем мешали. Нужно было отойти в сторону или проститься.

Он стал мне желать всего самого лучшего. Я ответил тем же. Мы разошлись.

Сделав несколько шагов, я оглянулся. Он медленно шел под легким новогодним снежком к Волхонке...

Из письма к прежнему адресату от 26 ноября 1946 года :

« У меня сейчас есть возможность поработать над чем-нибудь, не думая о хлебе насущном. Я хочу написать о всей нашей жизни от Блока до нынешней войны, по возможности в 10-12 главах, не больше. Можете себе представить, как торопливо я работаю и как боюсь, что может, что-нибудь случится до окончания работы и как часто приходится прерываться »... « Сейчас помимо моей воли вещи очень большого смысла входят в круг моей судьбы »... « Я всегда знал, что для настоящей ноты нравственной и аристократической мало прижизненного поприща и этот принцип охватывает более далекий круг »... Сейчас мне нельзя оставаться тем, что я есть »... « Мне недостает О.Э. (Осипа Эмильевича Мандельштама — А.Г.). Он слишком хорошо понимал эти вещи, он, именно, и сгоревший на этом огне ».

Поэтическая параллель к этим признаниям — стихотворение « Гамлет », которое так проникновенно было прочтено над свежей могилой Пастернака. Оно тоже датировано 1946 годом, как и большая часть цикла стихов из романа.

Повторяю, в этот и последующий годы я встре-

чался с ним уже гораздо реже и о многом пишу по догадкам, связывая ими его разрозненные и разновременные рассказы о себе при наших беглых встречах. Они всегда были сердечными и теплыми и ни о чем в своей жизни я так не жалею, как о том, что их не было больше.

В эти годы в жизнь Б.Л. вошла новая большая любовь. Лучше всего о ней он рассказал сам в своих стихах. Я узнал из них неизмеримо больше, чем из противоречивых московских слухов, но героиню этой любви я впервые увидел на похоронах Б.Л. А вот, что он писал об этом сам: «В противоположность всем сменявшимся течениям последних лет, на мою жизнь опять ложится очень резкий и счастливый личный отпечаток» (из этого же письма Б.Л. от 26 января 1946 г.).

Начало зимы 1946 года. Еду в метро и, держась за металлический поручень, читаю в газете корреспонденцию из Парижа об итогах выборов в парламент, где коммунисты собрали голосов больше всех других партий.

— Александр Константинович !...

Узнаю тембр голоса и поднимаю голову. Это Б.Л. Едем вместе всего один перегон. На мой вопрос о том, как он живет, отвечает :

— Работаю и это главное...

Когда так отвечают, значит, живется не слишком весело. Сказал, что пишет роман и написал хорошую статью о своих переводах Шекспира. Так сам и сказал: «хорошую» с наивной чистосердечностью, в которой нет и тени самодовольства. Собирается еще писать большую статью о Блоке. Сняв перчатку, жмет руку и выходит на площади Революции. Смотрю вслед. Шуба все та же, чистопольская, очень поношенная, но шапка новая, высокая, котиковая. Словно догадавшись, что я гляжу на него, обернулся уже с перрона и улыбнулся своей белозубой улыбкой. Он самый молодой из всех своих современников...

С начала 1947 года я часто встречаюсь с критиком Т. Мы оба книжные собиратели и у нас идет оживленный обмен раритетами. Т. страстный поклонник Пастернака. У него в толстых папках собраны вырезки любых статей, где только упоминается его имя, что не мешает ему активно участвовать во всех критических налетах на него. Он это делал с грациозным бесстыдством, не обременяя себя ни колебаниями, ни раскаянием. Написав что-нибудь наставительное в адрес Пастернака, звонил ему через несколько дней и выпрашивал его новые стихотворения. Как это ни странно, Б.Л. относился к нему снисходительно. Он приписывал Т. какую-то непонятную ему сложность и особого рода тонкость, чего не было и в помине. Впрочем, в широте вкусов Т. отказать было нельзя: он, бывший самым рьяным и ортодоксальным адептом «соцреализма» в поэзии, однажды несколько часов подряд читал мне с упоением Сологуба. Если бы Т. кто-нибудь назвал в глаза лицемером, он искренне огорчился бы. Мир для него естественно делился на черные и белые квадраты. Он твердо знал правила игры: один слон ходит только по белым квадратам, другой по черным и, не подвергая правила сомнениям, старался лучше и искуснее играть обоими слонами, что ему большей частью и удается, сохраняя при этом репутацию доброго малого. Но стихи все и всякие он любил искренне и был прирожденным эклектиком. Где-то в глубине души он был убежден: что бы он ни писал о ком-либо, хорошие стихи есть и останутся хорошими стихами, а неприятности, причиняемые поэтам статьями преходящи и скоро забудутся. Так оно и случалось: он умер и все его вспоминают вполне дружелюбно. Он вовсе не был психологическим уникалом. В те годы я знал одного человека, серьезно и глубоко интересовавшегося религиозно-философскими проблемами. Редкие книги, которые ему были нужны для его занятий, выдавались в Ленинской библиотеке только для «научных занятий» по особому разреше-

нию (Флоренский, Федоров и др.). И он пошел служить в газету «Безбожник» — это было еще перед войной, чтобы получить оттуда бумажку на пользование засе-кренными книгами, как бы для целей атеистической пропаганды.

Именно от Т. я получил впервые список нескольких стихотворений Пастернака, называющихся: «Стихи из романа в прозе». Это были «Гамлет», «На Страстной», «Объяснение», «Рождественская звезда» и что-то еще. Т. говорил о ней с восторженным придыханием: стихи он понимал. Мне сразу стало ясно, что это начало новой «манеры» Б.Л., которую он искал в предыдущие годы: простой, но не обедненной, естественной, но по-новому образной. Евангельские мотивы не смущали Т. Он принимал их, как принимал античную мифологию у Пушкина и Тютчева, т. е. как очевидную условность, расширяющую и обогащающую содержание стихов и вовсе не обязывающую к вере во всех этих бесчисленных богов. — Миф, как миф, не хуже всякого другого, — говорил Т., смакуя строки Пастернака. Но я уже тогда догадался, что дело здесь не в замене мифологии другой, а в чем-то большем.

Для меня обращение Пастернака к евангельским сюжетам, хотя было и необходимым, вскоре стало понятным. Как ни парадоксально, но это была форма его поворота к жизни, протестом против бесчеловечности культа Сталина, отказом от позиции артистического высокомерия и башни из слоновой кости, от духовной изоляции и эстетического индивидуализма. Старые большевики, сидевшие в лагерях, утешали себя воспоминаниями о Ленине и о молодости партии. Это давало им силу продолжать жить. Я лично знал и говорю об этом не понаслышке. Другие кутались в цинический фатализм, прятались в волюнтаристскую чешую, в неодарвинистическую философию приспособления. Я говорю о тех, кто еще умел видеть и думать. А большинство просто жило день за днем.

Часть из них (самые недалекие) искренне верили во все, что им говорилось, остальные делали вид, что верили. Ведь какая-то вера была все-таки нужна и ничуть не меньше, чем холодильники или радиоприемник: без душевного комфорта жить тоже голо и неуютно.

Именно высокая человечность Пастернака, его прирожденный и самовоспитанный демократизм, его потребность в тепле людского общежития, в простоте форм жизни, высокие уроки всего, что он любил и признавал в искусстве, обратили его к стихотворным циклам последних лет с их своеобразной религиозностью, к опыту «Доктора Живаго». Трагично, что это не было правильно понято и истолковывалось совсем иначе и, может быть, еще более трагично, что роман в прозе не стал его полной художественной удачей и придал его безукоризненной моральной позиции ту уязвимость, которая позволила многим о нем говорить свысока (я уже не говорю о брани оголтелых недругов Б.Л.).

В начале марта 1947 года имя Пастернака снова стало часто упоминаться на разных писательских собраниях. На совещании молодых писателей против него резко выступил Фадеев. В воздухе носились какие-то ругательные упоминания его там и сям и, еще задолго до появления статьи о нем в газете «Культура и жизнь», было ясно, что готовится новая проработка. Появлению этой статьи предшествовали прямые высказывания Сталина об искусстве и некоторых исторических вопросах (ответ в «Большевике» профессору Разину с критикой ленинских высказываний о войнах, прием Эйзенштейна и Черкасова и новое утверждение культа Ивана Грозного, резкий отзыв о пьесе Леонова «Золотая карета», сразу запрещенной). Как обычно, все эти высокие «указания» стали внизу «развиваться». За несколько дней до появления статьи я встретил Б.Л. в писательской сберкассе в Лаврушинском: он был уныл и заметно нервничал. Никто не

мог знать, как это обернется. Было известно, что у Ахматовой и Зощенко после их исключения из Союза писателей даже отобрали продовольственные карточки. Тиражи готовых книг обоих пошли под нож. В конце-концов Ахматовой дали какую-то карточку, как пенсионерке, а про Зощенко ходили слухи, что он припомнил одну из своих многочисленных профессий военного коммунизма и шьет дамские туфли. И вот, наконец, ожидавшаяся проработочная статья появилась. Это было 22 марта 1947 года. Я тоже с нетерпением ждал ее, но, прочитав, вздохнул облегченно: при всей недобросовестности и умышленной тупости, в ней не было окончательного «отлучения». Стало ясно, что на этот раз вопрос об исключении Пастернака из ССП не будет поставлен.

Весна была ранней и очень теплой. 4 апреля я встретил Б.Л. на Каменном мосту. Он в шубе и странной желтой шляпе. По Москва-реке шел лед. Б.Л., как всегда, был приветлив, но как-то смущен. Я почувствовал, что ему надоели выражения сочувствия и решил воздержаться от них, хотя потом упрекал себя за то, что не придумал ничего сказать ему сердечного и теплого.

Репрессии все-таки последовали: вскоре была уничтожена уже напечатанная книга его избранных стихов. Несколько экземпляров чудом уцелело. Т., конечно, достал один из них и с торжеством показывал его мне. На этот раз он удержался от выступления против Б.Л., но заметно трусил. Он мне сказал, что на него давит редактор журнала, где Т. работал, требуя, чтобы он выступил.

Вернувшийся незадолго до этого из эмиграции А. Вертинский, где-то встретился с Б.Л. и подошел к нему с каким-то жалостным словом, и Б.Л. очень резко ему ответил.

20 апреля я опять встретил Б.Л. в Лаврушинском переулке. Я спросил его, правда ли, что говорят о его столкновении с Вертинским? Он под-

твердил и начал говорить о нем с неожиданной для него злостью, которая показалась мне новой, незнакомой прежде чертой Б.Л. О статье в «Культуре и жизни» мы и этот раз не говорили. Он упомянул о ней только обиняком, сказав :

— Решили все-таки не дать мне умереть с голоду : прислали договор на перевод « Фауста »...

В конце июня я сидел в Александровском саду с книгой. Еще издали я увидел идущего по аллее человека в странном плаще песочного цвета из какого-то негнувшегося жесткого материала. На него все оглядывались. День был жаркий и человек в плаще выглядел странно. Когда он подошел ближе, я узнал Б.Л. и окликнул его. Он улыбнулся, подошел и сел рядом. У меня вертелось на языке посоветовать ему снять плащ, но я не решался. Впрочем, он минут через десять сам снял его, как-то вдруг догадавшись, что в нем жарко. Мы просидели больше двух часов, разговаривая о разном, в той части сада, которая выходит к набережной. Тут народа было совсем немного : няньки и матери с детьми, старики с собаками и одинокие, мечтательные девушки с книжками. Помню узорные пятна солнца сквозь густую листву, смех и крики играющих детей и упругие удары мячей. Я сказал Б.Л., что до меня дошли его стихи из романа и попытался сформулировать свое впечатление о них. Спросил о работе над романом. Вечером по старой привычке записал кое-что из этого разговора...

— Нет, я вовсе не за отказ от оригинальности, но я мечтаю об оригинальности, ступенчатой и скрытой под видом простой и привычной формы, сдержанной и непритязательной, при которой содержание незаметно войдет в читателя, я мечтаю о форме, в которой читатель как бы стал соавтором писателя, о незаметном стиле, в котором нет промежуточного расстояния между мыслью и изображением предмета...

— Вдохновение — это, пришедшее в горячке работы, главенство настроения художника над самим

собой. Это состояние, когда выражение обгоняет мысль, когда выполнение опережает задачу, ответ рождается раньше, чем задается вопрос. В природе словесной речи — самой создавать красоту, которую нельзя заранее предусмотреть и задумать. Написав в порыве вдохновения что-то, потом удивляешься, хотя сразу понимаешь, что это тоже твое, но оставившее позади самого себя.

— История — это ответ жизни на вызов смерти, это преодоление смерти с помощью памяти и времени. Естественно, что история — это нечто созданное христианской эрой человечества. До нее были только мифы, которые антиисторичны по своей сути. Прикрепленность исторического события ко времени — первый признак этой эры. Миф не прикреплен ко времени...

— А можно еще назвать историю — второй вселенной, воздвигаемой людьми по инстинкту сопротивления смерти и небытию. Явление времени и памяти, т. е. история — это и есть подлинное бессмертие, поэтическим образом которого является христианская идея о личном человеческом бессмертии...

— Меня совсем не волнуют эти, иногда вдруг вспыхивающие разговоры об антисемитизме, наверно потому, что я считаю самым большим благом для еврейства полную ассимиляцию. Расизм — выдуманная теория, нужная для неблагоприятной практики. Попробуйте с точки зрения расизма или крайнего национализма понять метиса Пушкина?...

— Когда мне бывает трудно, меня спасают житейские заботы, домашние мелочи, труд в саду на даче...

— Всего дороже мне жизнь, тонущая в жизни окружающих. Я ни разу не испытывал счастья бесстрастной потребности с кем-то его разделить. И чем больше было это чувство счастья, тем с большим числом людей мне хотелось делить его. Из этой, иногда нестерпимой, потребности, начинается искусство...

— Разучиваться в искусстве, так же необходимо,

как и учиться. Иначе оно начинает хозяйничать над тобой. Может быть — то, что я называю — разучиваться — явление, или процесс, еще более трудный, чем постижение каких-то умений. Если я сейчас пишу плохо со своей новой точки зрения, то я знаю, — это потому, что я еще не слишком хорошо разучился тому, что я прежде умел...

— Когда делаешь большую работу и весь захвачен ею, она продолжает расти и даже в часы отдыха, безделья и сна. Надо только уметь ввериться свободному течению, несущему тебя на своих волнах. Это тоже не просто. По рационалистическому недоверию ко всему бессознательному иногда вместо того, чтобы дать нести себя этому потоку, который сильнее тебя, начинаешь пытаться плыть против течения, тратить силы на ненужные и лишние движения...

— Мы не умеем учиться страшному опыту у биографий наших любимых художников. Представим себе только, что Пушкин сумел уговорить Наталью Николаевну уехать с ним в Михайловское и прожил там годы, скрипя гусиными перьями и подбрасывая поленья в трещащие печки. Какое счастье это было бы для России, для нас! Нас не учат ничьи уроки и мы все тянемся к призрачной и гибельной суете. А между тем только в рядовой жизни можно найти подлинное счастье и атмосферу для работы. Помните наш Чистополь? Я всегда вспоминаю его с удовольствием...

Я говорю ему, что может быть самое трудное в жизни — это уметь учиться на чужом опыте. Он подхватывает:

— Да, да... Каждый человек по-своему Фауст, он должен сам пройти через все, все испытать...

Движение вперед в науке происходит из чувства противоречия, которое я называю законом отталкивания, с потребности опровержения ложных взглядов и накопившихся ошибок. Такое же движение вперед в искусстве — чаще всего делается с подражания

попытки идти вслед, из потребности поклонения тому, что тебя восхитило...

— Есть что-то ложное и фальшивое в позе писателя — учителя жизни. Сравните застенчивую честность Пушкина и Чехова, их простоту и детскость, их скромное трудолюбие с хлопотливым беспокойством Гоголя, Достоевского и Толстого — о задачах человечества и собственной миссии; я в этом вижу претензию, которая меня оскорбляет и мешает наслаждаться их творениями. Высшее в судьбе художника — когда его личная жизнь, жизнь для себя, а не напоказ, не для других, становится благородным примером без нарочитости и торжественных приготовлений. Меня в толстовстве всегда смущала его демонстративная и показная сторона...

— Подражательность прописных чувств — вовсе не синоним их общечеловечности...

— Нас заставляют радоваться тому, что приносит нам несчастье; клясться в любви тому, что не любишь; вести себя противоположно нашему собственному инстинкту правды. И мы заглушаем этот инстинкт; лжем самим себе, как рабы идеализируем свою неволю...

— Я вернулся к работе над романом, когда увидел, что не оправдываются наши радужные ожидания перемен, которые должна принести России война. Она промчалась, как очистительная буря, как веянье ветра в запертом помещении. Ее беды и жертвы были лучше бесчеловечной лжи. Они расшатывали владычество всего надуманного, неорганичного природе человека и общества, что получило у нас такую власть, но все же победила инерция прошлого. Роман для меня необходимейший внутренний выход. Нельзя сидеть, сложа руки. Надо отвечать за свою жизнь и за то, что тебе дано. Я помню, вы тоже были отъявленным оптимистом во время войны и я даже с вами спорил, хотя мне хотелось иногда верить вам...

Я молчу. Он продолжает. Чувствуется, что он говорит, как о продуманном и прочувствованном, о

роли традиции в искусстве, той традиции, без которой нет никакой культуры.

— Большие традиции великого русского романа, русской поэзии и драмы — это выражение живых черт души русского человека, как они слагались в истории последнего века. Сопротивляться им: это значит обречь себя на натяжки, искусственность, неорганичность. « Война и мир », « Скучная история » и « Идиот » — такие же признаки России, как березки и наши тихие реки. Бесполезно разводить в Переделкине пальмы, этого даже Мичурин не придумал бы. Наша литература это сконцентрированный душевный опыт народа и пренебречь им — значит начинать с нуля...

— Много перечитывал Пушкина. Его письма прелесть. Какое отсутствие позы, какое умение быть самим собой. Это просто поразительно при полной ясности для себя своего масштаба и своей оценки им сделанного, как в « Памятнике »...

— Я люблю русскую литературу 1-ой половины 19-го века и второй 20-го...

— Понятие трагедии основано на свободе человеческой воли. Если у человека есть возможность выбора решения, поступка, или пути среди других предложенных ему жизнью поступков или путей, то у него появляется чувство моральной, или прочей ответственности за свой выбор перед историей или истиной. Когда нет права сравнения решений, нет и трагедии. Выбор своего пути — это современная судьба, без какого то ни было фаталистического оттенка...

— Как это ни странно, но фатализм или политический мистицизм стал свойствен именно тем, кто называл себя материалистами...

Маленькая девочка, играя, попадает мячиком прямо в Б.Л. в тот момент, когда он говорил особенно увлеченно. Он смущенно замолк. Я поднимаю мячик и бросаю ей обратно. Она со смехом убегает. После этого разговор переходит на разные пустяки. Я машинально смотрю на часы. Б.Л. ловит этот жест и начи-

нает извиняться, что он меня «задержал». Мы встаем и идем к выходу из сада. Он несет на руке свой нелепый плащ. У подъема на мост расстаемся.

— Мы с вами редко видимся теперь, но всегда говорим, словно расстались только вчера, — говорит мне на прощанье Б.Л.

Целый день потом думаю о его романе, замысел которого как-то необычно вырос в моих глазах после этого разговора. Мне хотелось спросить Б.Л. еще о многом: о месте стихов и композиционной структуре романа, о связи автобиографического элемента с романной фабулой, но разговор Пастернака редко бывал диалогом, а перебивать его я не решался.

Всю вторую половину года я много работал и с середины зимы моя новая пьеса начала репетироваться в двух московских театрах. Как-то в разговоре с руководителем одного из этих театров зашла речь о пастернаковских переводах Шекспира. Я сумел так расхвалить «Антония и Клеопатру», что мой собеседник загорелся желанием прочесть перевод. Я вызвался достать, звонил Б.Л. и получил от него машинописный экземпляр. После этого появилась идея попросить самого Б.Л. прочитать перевод труппе театра. Посредником между театром и Б.Л. был я, хотя потом во имя вящей убедительности для Пастернака, что это реальное, практическое дело, привлек к себе на помощь и завлита театра. Пастернак неожиданно охотно согласился. Он только попросил и меня обязательно прийти, чтобы на чтении был «кто-то близкий», как он выразился. Разумеется, я и без того собирался быть в этот вечер в театре.

Чтение назначили на 30 января (1948 г.). Это был снежный метельный вечер. Дворники не успевали разгрести улицы, городской транспорт работал с перебоями. Даже спектакли начались с опозданием.

Все свободные от спектакля актеры собрались в просторном кабинете главрежа. Я ждал Б.Л. в фойе у входа. Он вошел, держа шапку в руках, отряхывая ее

снег с воротника и рукавов. Поздоровавшись, он озабоченно спросил, считаю ли я удобным, что он пригласил на читку трех своих знакомых. Я успокоил его и, предупредив дежурную, чтобы пришедших проводили за кулисы, пошел знакомить Б.Л. с собравшимися.

— Ну, вы снова преуспеваете, — сказал мне на ходу Б.Л. — Я читал о вашей пьесе в «Вечерней Москве»... Впрочем, вы этого вполне заслуживаете, — прибавил он наивно, чтобы я не был задет. Ведь в те времена «преуспевание» человека не всегда было верным мерилom его достоинств. Я улыбнулся про себя на это добавление.

Вскоре появились и его знакомые. Это были две, неизвестные мне женщины (сейчас мне кажется, что одна из них была Ивинская, но я в этом не уверен), и неизбежный А.Е. Крученых, которого я давно знал.

Б.Л. в очень хорошем настроении, приветлив и рыцарственно вежлив со всеми. Капельдинерша принесла поднос для графина с водой и уронила его. Б.Л. находился в другом конце комнаты, но бросился его поднимать. Подражая ему, это сделали и другие и у упавшего подноса образовалось небольшое столпотворение. Но вот ждать больше некого и все рассаживаются. Б.Л. подзывает меня к себе и тихо говорит: — Садитесь, пожалуйста, поближе!... — Это значило, что он все-таки волнуется. Я сажусь почти рядом со столом, за которым сидит он.

Он читал только отрывки, подробно пересказывая все пропущенное, комментируя и, как всегда, уклоняясь в сторону и даже теоретизируя (что само по себе не менее интересно). Как обычно, он наивно комиковал в жанровых местах и трогательно волновался в сценах трагических. Актеры смотрят на него, как на монстра, больше интересуясь им самим, чем трагедией Шекспира, но он этого не замечает. Он уже заметно седой, но скорее сероватый, чем белый и по-прежнему молодой для своих 58 лет; крепкий, гибкий. Во время

своих попутных объяснений дважды обращается ко мне, как бы за подтверждением.

После окончания чтения пьесы, кто-то из последних рядов попросил его прочитать стихи. Заметно, что просьба эта ему приятна, хотя он сначала отнекивается и, как говорится, «ломается». Но у него и это получается обаятельно и не похоже на других. Оказалось, что папка с новыми стихами тоже с ним и в конце концов он соглашается, попросив объявить перед этим пятиминутный перерыв.

В перерыве он подходит к своим знакомым, а я иду потолкаться среди актеров. Там сплошные «ахи» и «охи». Все в него уже поголовно влюблены. Обычно в перерывах на читках пьес, актеры сразу распределяют друг с другом роли, а тут все говорят только о том, какой он, Пастернак. Соревнование с Клеопатрой, Антонием и Шекспиром он выиграл в этот вечер с легкостью.

После перерыва, когда все снова собрались в кабинет главрежа, Б.Л. опять отнекивается, отказываясь читать. Но все отлично понимают, что самое главное только теперь и начнется и шумно его уговаривают. Среди этих дружеских препирательств, он вдруг повернувшись ко мне, неожиданно спрашивает меня: поставили ли мне уже телефон? (После войны я долго не мог восстановить снятый тогда телефон). Что значил этот вопрос, я не знаю до сих пор, — может быть это косвенное выражение какой-то признательности за мою постоянную хотя большей частью и отдаленную верность ему.

Раньше, чем начать читать, он рассказал о своем романе и его главном герое, враче, который после смерти оставляет рукописи своих стихов. А потом он читает: «Зимнюю ночь» («Свеча горела»). Он заметно волнуется. Затем идут «Март», «На Страстной», «Рождественская звезда», «Чудо» и что-то еще. Актеры бурно аплодируют. Б.Л. уже не заглядывая в рукопись, наизусть читает «Гамлета». (Впрочем, «Чу-

до » он тоже читал наизусть). Как он читал « Гамлета » забыть невозможно — это было признание — исповедь... После « Рождественской звезды » он говорил об истоке стихотворения, как-то связывая это с влиянием Блока.

Горячий прием актерской братии его трогательно и немножко жалко растрогал. Я сидел и думал — все-таки, наверно, он очень одинок, если ему нужны такие немудреные триумфы...

Его просили прочесть что-нибудь еще. Он говорит, что готов повторить любое из прочтенных стихотворений. Голоса : « Свеча горела », « Гамлет » ! Мне хотелось, чтобы он прочитал еще раз « Гамлета », но он выбрал « Зимнюю ночь » и я это сразу понял — исповедь не бисируют.

И он читает. Голос его как-то особенно мягок.

Мело, мело по всей земле,
Во все пределы,
Свеча горела на столе,
Свеча горела...

В чем разгадка силы этих простых слов ? В лермонтовском : « Есть речи — значенье... », или в его собственном определении « неслыханной простоты », как ереси, за которую следует беспощадное возмездье ? Но стоит ли задумываться над чудом, вместо того, чтобы благодарно им восхищаться ?

...На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.
И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал...

Б.Л. держит перед собой лист с напечатанным стихотворением, но не смотрит в него.

...И все терялось в снежной мгле,
Седой и белой,
Свеча горела...

Я слушаю знакомый голос Б.Л. с его носовым, низким тембром, с его протяжными гласными и мне кажется, что эти стихи можно читать только так, только этим голосом, только в такой же метельный и снежный зимний вечер, как сегодня...

Б.Л. окружили актеры. Я отошел в сторону, но до меня доносились пышные и банальные комплименты, произносимые хорошо поставленными голосами. Впрочем, я не сомневался, что они искренни: актеры умеют увлекаться.

Пожав полтора десятка рук, Б.Л. вырвался из круга, и увидев меня, снова подошел и спросил уже не помню какими словами о моем впечатлении. Что я мог сказать? Я пробормотал, что я недавно впервые в жизни прочитал прозу Марины Цветаевой, как-то сопоставил это и сегодняшний вечер и выговорил нечто невнятное про «праздник». Б.Л. неожиданно обнял меня, неуклюже поцеловал в щеку около уха и несколько раз повторил: «Спасибо! Спасибо!» Актеры смотрели на нас с почтительным недоумением.

В коридоре показались знакомые Пастернака. Я стремительно простился и быстро ушел, словно боясь расплескать что-то, что дрожало и билось во мне и комком подкатывало к горлу...

В конце мая я снова встретил Б.Л. в нашей писательской сберкассе. Он был в белой панаме в светлом костюме, моложавый и красивый. В городе уже давно ходили слухи о его новом «серьезном» увлечении. Мы вместе вышли и постояли недолго у подъезда дома в Лаврушинском переулке.

Он сказал, что недавно читал четыре часа подряд

приехавшей из Ленинграда А.А. Ахматовой законченную первую часть романа. — Я так ее уморил, что у нее чуть не начался приступ грудной жабы... — Он старался держаться беспечным и разговор не вышел из границ легких шуток. Спросил, когда у меня премьеры. Я сказал, что репетиции затянулись и наверно пьеса пойдет только к началу сезона. — Обязательно пригласите! — сказал Б.Л. — Конечно, Борис Леонидович! — Он вошел в подъезд.

19 сентября у меня в дневнике такая запись: «Золотая осень сменилась ненастьем. По городу ходит рукопись первой части романа Пастернака. Через несколько дней получу: мне обещал достать ее Т.».

Но 1-го октября 1948 года, как раз в день генеральной репетиции моей пьесы я был арестован. Премьера не состоялась.

Прошли годы.

В конце лета 1954 года, в самом начале потока «реабилитированных», ехавших из лагерей, я возвратился в Москву после почти шестилетнего отсутствия. И вскоре — в той же писательской сберкассе в Лаврушинском, где в последний раз встретил Б.Л. Пастернака, я снова увидел его. Когда я вошел, он заполнял чек у окошечка контролера. Я его окликаю. Он поворачивается, всматривается, узнает, обнимает и крепко целует.

— Уже слышал, слышал, что вернулись, — сказал он, не понижая голоса и не обращая внимания на окружающих. — А я, вот, не исправился...

Мы вместе вышли.

Я рассказал ему, как я читал весной в «Знамени» его стихи (кажется, первые напечатанные за все эти годы). Это был цикл «Стихи из романа "Доктор Живаго"». А его однотомник, подаренный им мне во время войны с такой доброй надписью, мне прислали из дома и я почти все время заключения возил его с собой. Обыкновенно я читал его стихи по утру, просыпаясь

в бараке раньше остальных, и, если мне что-нибудь мешало, то чувствовал себя потом как-будто не умылся.

Я смотрю на него и мне кажется, что он почти не постарел.

В последующие годы — несколько беглых встреч, обмен приветствиями, разговоры на ходу о пустяках. Как-то он мне сказал, что видел афишу о возобновлении в ЦТСА спектакля «Давным-давно»...

— Вот видите, я оказался хорошим пророком. Сколько перемен во всем, и в наших судьбах тоже, а ваша девушка-гусар все еще скачет по сценам... — и он грустно добавил: А мне не повезло в театре.

— Зато нам повезло, — сказал я, — ведь после постановки в Художественном вашего перевода «Марии Стюарт» родилась «Вакханалия».

— О если бы я знал это тогда, в те темные годы! — сказал Б.Л. — Мне легче жилось бы от одной мысли, что я тоже там...

Он улыбнулся.

— А вы ее уже знаете? И, конечно, заметили, что она написана наперекор всему, что я писал перед этим и после?

Мое восторженное отношение к «Вакханалии» его как-будто удивило.

Я сказал ему, что большое и сложное по содержанию стихотворение, вернее, маленькая поэма, кажется написанной одним дыханием, в один присест, залпом.

— Это хорошо, если так чувствуется, но не совсем верно. Я написал это почти в два присеста, как пишу большую часть своих стихотворений. Но вы правы, оно было неожиданным для меня самого. Это прилив того, что обычно называют вдохновением. Знаете, бывает так: всю зиму в чулане стояла закупоренная бутылка с наливкой. Она простояла бы еще долго, но вы нечаянно дотронулись до нее и пробка вдруг вылетела. Эти стихи — моя вылетевшая пробка. Они

удивили меня самого, но для меня — еще большая неожиданность, что они многим так нравятся...

Среди рукописей Б.Л., оставшихся после смерти, нашлось начало большой пьесы о крепостной актрисе, которую он писал в самые последние годы, так и не расставшись с мечтой о завоевании театра.

Во время той же встречи в Переделкине, он на мой вопрос, что он теперь пишет, ответил :

— Не думайте, ради Бога, что я уклоняюсь от ответа, но я сам еще нахожусь сейчас в том периоде неопределенности, который наверно по существу уже есть инкубационная стадия работы. Скажу коротко — снова думаю о пьесе...

В одном из писем Б.Л. через два года после этого разговора и менее, чем за год до смерти, Б.Л. писал об этом его последнем, видимо, большом замысле : « Пожелайте мне, чтобы ничто непредвиденное извне не помешало ходу, и, еще очень отдаленному, завершению, захватившей меня работы. Из состояния безразличия, с каким я подходил к мысли о пьесе, она перешла в состояние, когда баловство или попытка, становится заветным желанием, или делается страстью »...

При нескольких встречах Б.Л. звал меня приезжать к себе в Переделкино, но я ни разу не воспользовался приглашением. К моей природной застенчивости добавилась психологическая скованность, обычная у людей, вернувшихся « оттуда ». Я не был сразу реабилитирован. Мои пьесы уже снова шли на сценах московских и ленинградских театров, а паспортные дела все еще были не в порядке. С запозданием был восстановлен и в членах Союза писателей. (Впрочем, в этом была и своя хорошая сторона : это избавило меня от присутствия на собрании московских писателей, где голосовали за резолюцию об исключении Пастернака, или — от уклонения от присутствия). Все это меня внутренне связывало и я так и не собрался к нему. Кроме того, я слишком любил Б.Л. и дорожил

его отношением к себе, чтобы рисковать появлением некстати. Вернее — я не отказывался от встреч, но откладывал их до более спокойного времени, которое так и не пришло.

18 августа 1957 года я поехал в гости к знакомым в Переделкино и на мостике через речку встретил Бориса Леонидовича. Он был в чем-то вроде пижамы, или легкого летнего костюма: белое с синим. Уже совсем седая голова и молодое лицо. Очень приветливо здоровается. Сначала разговариваем, стоя на обочине шоссе у моста. Его здесь все знают и проходящие оглядываются на нас. Впрочем, мало кто здоровается... Он пригласил пойти погулять. Я забываю о том, что меня ждут к завтраку, и иду с ним.

Помню все, как-будто это было вчера — и светло-серый пруд с лилово-розовым налетом и насыпь с раскидистыми ветлами, огороженную низкими белыми с черной каемкой столбиками и прекрасные старые липы, кедры и лиственницы в сохранившейся части парка, куда привел меня Б.Л., и его милое, так хорошо знакомое, гудение. Он показывает мне старинный дом с колоннами — бывшее имение Самариных, описанное им в стихотворении «Старый парк». В студенческие годы Б.Л. дружил с одним из молодых Самариных. О печальной и странной судьбе Дмитрия Самарина он бегло рассказал в «Автобиографии». Он же, по-видимому, явился прототипом Юрия Живаго, во всяком случае по внешней рамке судьбы.

Бродили вдвоем часа два и говорим о многом и разном, вернее, как и прежде, говорит один Б.Л.

И говорит он совсем по-прежнему, т. е. стремительно набрасывает кучи фраз, сам себя перебивает, уклоняется в отступления, возвращается к прерванному, со всей той кажущейся сбивчивостью его речи, к которой нужно привыкнуть, чтобы понимать ее неуклонную последовательность. Он кажется взволнованным и желающим выговориться.

Не могу не сказать, что поначалу мне показалось,

что он многое преувеличивает. Предчувствия ожидаемых гонений и бед в это прекрасное воскресное летнее утро в тихом будничном подмосковье представилось мне чрезмерностью воображения. Через год и два месяца я понял, что не он был слишком насторожен, а я чрезмерно благодушен. Впрочем, о многом я узнал только в этом разговоре.

По словам Б.Л. над ним нависла грозовая туча. Роман вскоре должен выйти в Италии. Б.Л. хотел остановить его печатанье, но почему-то этого не сделал или уже не мог сделать. «Я не имею права теперь это делать», — сказал он. В прошлом году от него отказался «Новый мир». Котов собирался его печатать в Гослитиздате, но умер, а остальным не до этого — все заняты мышинной карьеристской возней. В Союзе писателей роман окрещен «контрреволюционным». «Если бы это было так, я не побоялся бы это признать, но это неверно...» Говоря об этом, Б.Л. употребил сравнение: — Это все равно, что характеризовать этот кедр только тем, что он отбрасывает на солнце тень, в которой мы сейчас стоим...

— Из меня хотят сделать второго Зощенко... Да, да, уверяю вас. Нет, теперь уже ничто не поможет. Таков приказ свыше. В пятницу меня вызывали в Союз на заседание Секретариата. Оно должно было быть закрытым, но я не поехал, а они все там обиделись и приняли страшную резолюцию против меня. Нашлись доброхоты, которые все раздувают и лихо радят атмосферу, как, например, К. Даже Панферов держится спокойнее его и ему подобных. Вдруг выяснилось, что у меня множество недругов. Впрочем, на этом секретариате зачем-то составили комиссию для переговоров со мной... Нет, нет, не спорьте, на этот раз мне будет плохо. Пришел мой черед. Вы же ничего не знаете. Тут все очень сложно. В это дело запутано много разных самолюбий, престижей, идет дуэль авторитетов. До самого романа им очень мало дела. Большинство занимающихся этим вопросом его и

не читало. Кое-кто и рад бы замять — о, нет, не из сочувствия ко мне, а из мещанской боязни уличного скандала, но это уже невозможно. Говорят, что меня на секретариате кто-то назвал рекламистом, любящим шум и раздувающим скандал. О, если бы они знали, как это все чуждо и враждебно мне! Я иногда просыпаюсь в ужасе и тоске от самого себя, от несчастного своего характера, требующего полной свободы духовных поисков, и от этого неожиданного поворота в моей судьбе, доставляющего столько неприятностей моим близким.

Я стараюсь перевести разговор на другую тему и мы говорим о недавней беседе Твардовского с Хрущевым о писателях, которые, как птицы, делятся на «ловчих» и «певчих», и еще о многом.

Вспоминаю, что у меня в записной книжке лежит фотография, где в 1936 году были сняты — он, В.Э. Мейерхольд и я. Отдаю ему ее. Он благодарит, но спрашивается, есть ли у меня еще экземпляр.

— У меня все пропадает. И она пропадет. Какой тут хороший Мейерхольд. А как вы изменились! Но я помню вас еще таким в чистопольские времена...

(Он оказался прав. Через некоторое время А.Е. Крученых при случайной встрече предложил мне «уступить» фото, где я снят с Мейерхольдом и Пастернаком. Заинтересовавшись, я выяснил, что фотографию он получил от приятельницы Б.Л., которая в свою очередь выпросила ее у него).

Мне показалось, что к концу нашего разговора, после двухчасовой прогулки, Б.Л. как-то успокоился, м.б. потому что выговорился с привычным собеседником.

Когда мы прощались, он снова настоятельно звал меня к себе: —

— Приезжайте без церемоний в любое воскресенье после часа...

Но, приняв это за обычную любезность, я не вос-

пользовался приглашением, хотя мне очень хотелось спросить его о многом.

За несколько месяцев до этого я прочитал его «Автобиографию». Э. Казакевич намеревался напечатать ее в третьем томе «Литературной Москвы» и мне ее дал на короткое время кто-то из членов редколлегии (м.б. и сам Казакевич — сейчас уже не помню).

Блистательно написанная с тугой сжатостью мыслительной энергии, которая свойственна лучшим образцам поздней прозы Б.Л. (к сожалению, «Доктор Живаго» не весь написан на этом уровне), она поразила меня односторонностью и каким-то преднамеренным сужением огромного и разнообразного опыта артистической жизни автора.

«Автобиография» не повторяет и не продолжает «Охранную грамоту», но соприкасаясь с ней, как бы музыкально ее варьировает. В ней есть задуманная сухость и решительная жесткость оценок, которые противоречат прежним взглядам Б.Л. (в частности, например, в отношении Маяковского). Б.Л. в этой работе почему-то опускает многое из того, что не могло не формировать его как художника и чему даже я был свидетелем (война, работа над Шекспиром, Чистополь и пр.), как бы выбирая и оставляя только то, из своей жизни, что вело и подводило его к созданию «Доктора Живаго», пропустив и замолчав все прочее и резко и несправедливо осудив целые большие и плодотворные периоды своей поэтической работы. Впрочем, нового в этом для русской литературы ничего нет: вспомним Гоголя, вспомним сложное отношение Л. Толстого к составившим его славу романам и даже прямое отречение от «Войны и мир».

В этом смысле надетая на себя Б.Л. схема отречения от ранней лирики — явление вполне традиционное. В целом «Автобиография» с ее предельно субъективной и несомненно искренней и мучительной самопереоценкой, вызвавшей по закону резонанса

попутную переоценку былых влияний и пристрастий, а также соседних себе явлений в искусстве, показалась мне, чем-то обедняющим и даже искажающим портрет того Б.Л. Пастернака, которого я знал и любил уже много лет. Мне почудился за всем этим какой-то вызов кому-то, вызов очень одинокого, отчаявшегося и уставшего от одиночества и отчаяния художника, и еще почудилась та тоска человека слова по поступку, которая тоже нам хорошо знакома по судьбе Толстого.

Не знаю, решился бы я говорить об этом и спорить с Б.Л., хотя раньше он очень просто и мягко принимал мои возражения. По некоторым признакам я мог думать, что он за прошедшие годы стал не так широк и терпим, как раньше, м.б. тоже от усталости.

В это время в литературной среде уже ходили рассказы об его резкостях, ранее немислимых. Это был другой Пастернак, чем тот, которого я знал, и тот прежний Б.Л. вряд ли был бы способен на грубую отповедь пошлому и оскорбительному тосту В. Вишневского.

В конце года я еще встретился с Б.Л. на спектакле «Фауст» на гастролях Гамбургского театра. Роман уже вышел по-итальянски и за ним в антрактах толпой ходили иностранные корреспонденты. Кто-то из них сунул ему в руку томик «Фауста» в его собственном переводе и его стали фотографировать. Прежний Б.Л. счел бы это нескромной комедией, а этот новый, покорно стоял в фойе театра с книжкой в руках и позировал журналистам при вспышках магния. Видимо, он считал это нужным для чего-то, потому что представить себе, что это ему было приятно, я все равно не могу. Мировая слава нагнала его, но он не казался счастливым. И в искусственности позы и в его лице чувствовалась напряженность. Он выглядел не победителем, а жертвой. Во всем этом было что-то оскорбительное. Я хотел подойти к нему, но раздумал, и ушел из театра со странным и неприятным осадком в душе.

Как известно, рукопись романа была отдана Б.Л. миланскому издателю, коммунисту Фельтринелли с ведома редакции «Нового мира» и руководства Гослитиздата, но с условием опубликовать его только после первой публикации ее в СССР. Публикация эта реально готовилась, роман анонсировался журналом и Б.Л. работал со штатным редактором издательства. Ничего нелояльного в соглашении с Фельтринелли не было. Положение обострилось только после того, как стало ясно, что в СССР роман в ближайшее время напечатан не будет. А тем временем перевод на итальянский язык был уже готов. На встревоженные запросы издателя Б.Л. сначала ответил телеграммой, что тот может поступать, как ему угодно, а потом, после оказанного на него давления, что он просит подождать.

Впрочем, ни срока ожидания, ни прочих условий сообщено не было. Фельтринелли предпочел послушаться первой телеграммы. В октябре 1957 года группа советских поэтов поехала в Италию. Приглашен был и Б.Л., но вместо него поехал А. Сурков, который, видимо, старался вызволить у Фельтринелли обратно рукопись романа. Говорят, что посредником в этих переговорах был Тольятти, но Фельтринелли был упрям и вскоре роман вышел в Милане.

Первое издание его было распродано в течение нескольких часов. В течение зимы, весны и лета 1958 года вышли издания романа и на других языках. Советская пресса об этом молчала до поздней осени 1958 года, когда, наконец, разразилась буря.

Итак, вовсе не выход романа за рубежом, а только присуждение Пастернаку Нобелевской премии вызвало начало кампании против него. С момента выхода романа к этому времени прошел уже целый год. Затянувшееся молчание по поводу появления романа в печати было первой из длинной цепи неловкостей, совершенных в связи с этим делом. Ведь только за содержание романа мог в какой-то мере нести ответственность писатель, а вовсе не за его многочисленные

переиздания, комментарии, статьи и присуждение премии. Мы только видели, что Нобелевская премия была присуждена Сартру, несмотря на его возражения, винить Б.Л. за присуждение ему премии было так же нелогично, как и Сартра. С советской стороны никогда раньше не осуждалось принятие этой премии, когда ею награждались наши ученые. Стало быть, дело было не в принципиально отрицательном отношении к этой премии вообще, а только в данном случае. Но почему Б.Л. должен был отказываться от премии, если от нее не отказывались наши физики, медики и биологи?

Роман в рукописи несколько лет ходил в Москве по рукам, официально обсуждался в наших редакциях и об отклонении его журналом нигде не сообщалось. В самом отклонении рукописи еще нет ничего исключительного. Разве не бывает, что рукопись отклоняется одной редакцией и принимается другой? Чтобы не ходить далеко, можно напомнить историю напечатания «Синей тетради» Казакевича и многих других произведений последних лет. В чем же был криминал? Все делалось не тайком, не из-под полы, а открыто, на глазах у всех. Сам вопрос о присуждении Пастернаку Нобелевской премии за рубежом в литературных кругах обсуждался и раньше и вне всякой связи с романом «Доктор Живаго». Об этом серьезно говорили уже в 1947 году. Тогда кандидатуру Пастернака выставила группа английских писателей. В Москве об этом тоже знали. Я помню, как в одном литературном доме осенью 1947 года шел об этом разговор в присутствии первой жены Б.Л.... Времена были куда более крутые и все присутствующие высказывали опасение за положение Б.Л. у нас, если это произойдет, и почти в той же самой формулировке, которую дал он в разговоре со мной через 10 лет, говоря, что из него сделают «второго Зощенко». Может быть, эти слухи повлияли на решение об уничтожении тиража сборника избранных стихотворений Б.Л. в серии «Избранные произведения советских писателей», по примеру уничтоже-

ния уже напечатанных книг Ахматовой и Зощенко за год до этого.

Судя по разговору со мной в августе 1957 года, Б.Л. ясно представил, что его ожидает и ничего не преувеличивал. Настоящие поэты часто предсказывают в своих стихах свое будущее и Пастернак задолго до мрачной осени 1958 года писал: «На меня наставлен сумрак ночи, тысяча биноклей на оси...» Предошущение судьбы, так фатально оправдавшееся, замечательно в его «Гамлете», написанном за 12 лет до исключения Б.Л. из Союза писателей.

Неправильно думать, что Б.Л. желал «пострадать». От сознания неизбежности до желания — расстояние большое. Можно трезво предвидеть эту неизбежность и в то же время отказываться уклониться от нее. Дважды эта тема возникает в послевоенных стихах Б.Л., включенных им в состав романа. После вышеприведенных строк следует: «Если только можешь, авва Отче, чашу эту мимо пронеси»... Эта же моральная дилемма составляет содержание одной из прекраснейших легенд — легенды о молитве в Гефсиманском саду и не случайно ей посвящено большое стихотворение Б.Л.

...Ночная даль теперь казалась краем
Уничтожения и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для жилья.

И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала
В поту кровавом он молил Отца...

Стихи приписаны автором герою романа Юрию Живаго, но это кажется натяжкой: в опыте жизни Живаго нет этому никаких реальных параллелей. Тут

голосом героя говорит его живой протагонист — но отнюдь не двойник — сам автор.

Разве Б.Л. не хотел, чтобы роман был напечатан в «Новом мире» и вышел в Гослитиздате? Можно счесть странным, что он на это надеялся. Но это был 1956 год, год Двадцатого съезда. Многое менялось. Открывались новые пути. В подобные моменты крутых переломов сбывается то, что недавно казалось невероятным. Когда я впервые прочитал в рукописи «Ивана Денисовича» и «Матренин двор», я готов был держать любое пари, что эти вещи еще не смогут быть напечатанными. К счастью, я ошибся. Нецензурность «Доктора Живаго» относительна, многие идеи, высказанные в нем, содержатся в еще более ясном виде в поэме «Высокая болезнь», которая не раз переиздавалась и в годы культа Сталина.

Знать свою судьбу и идти ей навстречу, не зажмурившись и не обольщаясь утешениями, делая то, что он верно, или ошибочно, считал своим долгом — вот содержание и смысл последних лет жизни Б.Л. Пастернака.

Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь!

Этот «выбор», это решение были не просты уже тем, что они противоречили прирожденному характеру Б.Л. — артистически мягкому, далекому от ограниченности фанатизма, доверчивому и открытому. Виктор Шкловский написал про него в книге «300 или письма не о любви»: «Он проживет свою жизнь счастливым и всеми любимым». (В издании 1964 г. эта фраза опущена). Для меня острые углы «Автобиографии» обозначают сломы и рубцы поэта в борьбе с самим собой...

В 1936 году в стихотворении «Художник» Б.Л. Пастернак писал :

...Но кто ж он ? На какой арене
Стяжал он поздний опыт свой ?
С кем протекли его боренья ?
С самим собой, с самим собой...

Хочется процитировать все стихотворение целиком. Сейчас кажется чудом точность, с которой проецируется в нем вся дальнейшая судьба поэта. Но подлинная поэзия всегда чудо, иначе зачем она нужна ?

« Все до мельчайшей доли сотой в ней оправдалось и сбылось », — сказал о своей жизни Б.Л. в одном из поздних своих прекрасных лирических стихотворений о русской природе, где достигнута та высокая поэтичность, в которой не сравнения и уподобления метафорического порядка придают значительность простому и скромному пейзажу, а он сам собой как бы углублен до просторного образа, не переставая быть тем, что он есть, т. е. точно выписанной картинкой природы.

Выбор был не прост еще и потому, что никаких иллюзий у человека, потерявшего в годы культа Сталина столько близких друзей, и не раз в глухую ночь в Переделкине ждавшего стука в калитку агентов Ежова и Берия, быть не могло. Что тогда сохранило Пастернака ? Трудно сказать. Известно только, что в 1955 г. молодой прокурор Р., занимавшийся делом по реабилитации Мейерхольда, был поражен, узнав, что Пастернак на свободе и не арестовывался : по материалам « дела », лежавшего перед ним, он проходил соучастником некоей вымышленной диверсионной организации работников искусства, за создание которой погибли Мейерхольд и Бабель. Еще в этом деле мелькало имя тоже не арестовывавшегося Ю. Олеси. Этот честный и добросовестный молодой человек был далек от литературных кругов, а само имя Пастернака ши-

рокую, всеобщую известность приобрело только после инцидента с Нобелевской премией.

На каком-то этапе изготовления этой зловещей инсценировки, видимо, где-то было решено ограничиться уже арестованными Мейерхольдом и Бабелем, но так или иначе, судя по материалам «дела», очевидно, что во второй половине 1939 года Б.Л. находился под реальной угрозой уничтожения, да и тогда ли только? Когда Б.Л. впоследствии попросили дать для реабилитации Мейерхольда характеристику его политических взглядов, он кратко написал, что Мейерхольд был всегда гораздо более советским человеком, чем он, Пастернак. В этом слышатся и горькая шутка и странная бравада, но хорошо, что наступили времена, когда стало возможно так шутить.

Все сказанное не означает полного принятия мною идей и образов романа «Доктор Живаго» и даже хотя бы относительного согласия с авторской оценкой того, как главного труда жизни.

Когда рукопись романа ходила по Москве, я ее не прочитал. Почему-то мне казалось, что роман вскоре будет напечатан и я не проявлял особого рвения к тому, чтобы его достать, хотя это вовсе не было трудно, да и сам Б.Л. дал бы мне его, если бы я попросил. Прочитал я его гораздо позднее, когда миновала буря вокруг него, уже после смерти Б.Л.

Нужно ли здесь писать об этом? Да, мне кажется, нужно. Ведь я пишу о встречах с Б.Л. Пастернаком, а это тоже одна из «встреч»...

Говоря кратко — роман меня разочаровал. Не поверив себе, я, перевернув последнюю страницу, стал снова читать его с самого начала. Выносить суждение об этой, уже такой знаменитой книге, было делом слишком серьезным и ответственным перед самим собой. Я прочитал его дважды и потом еще много раз перелистывал, просматривая отдельные главы и страницы, споря мысленно с Б.Л. и с самим собой.

Скажу больше — знакомство с романом было для

меня драматичным : и потому, что я очень любил Б.Л., как человека и художника и потому, что мне очень не хотелось увеличивать ряды тех, кто бранил роман, не задумавшись над ними глубоко (а часто и вовсе не прочитав его). Я навсегда останусь бесконечно благодарным Б.Л. за все, что получил и продолжаю получать от его поэзии, но он сам где-то на страницах своей книги говорит, что главная беда времени — отсутствие у людей собственного мнения, и поэтому, исполняя завет Б.Л., я решаюсь сформулировать собственное мнение об его романе, каким бы оно ни было.

В « Докторе Живаго » есть удивительные страницы, но насколько их было бы больше, если бы автор не тужился написать именно роман, а написал бы широко и свободно о себе, своем времени и своей жизни. Все, что в этой книге от романа, слабо : люди не говорят и не действуют без авторской подсказки. Все разговоры героев — интеллигентов — или наивная персонификация авторских размышлений, неуклюже замаскированная под диалог, или неискusstvenная подделка. Все народные сцены по языку почти фальшивы : этого Б.Л. не слышит (эпизоды в вагоне, у партизан и т.д.). Романно-фабульные ходы тоже наивны, условны, натянуты, отдают сочиненностью или подражанием. Заметно влияние Достоевского, но у Достоевского его диалоги-споры — это серьезные диспуты с диалектическим равенством спорящих сторон (как это превосходно доказал в своей книге Бахтин), а в « Докторе Живаго » все его действующие лица — это маленькие Пастернаки, только — один более густо, другие пожире замешанные.

Широкой и многосторонней картины времени нет, хотя она просится в произведения эпического рода. Это моралистическая (даже не философская) притча с иллюстрациями романического и описательного характера. Все, что говорит о природе, прекрасно. И об искусстве. И о процессе сочинения стихов (без этих страниц в будущем не обойдется ни один исследова-

тель поэзии Пастернака). И многие попутные мысли и рассуждения (в некоторых из них я встретился с уже слышанным ранее от Б.Л. — правда, большей частью иначе сформулированным). И отдельные психологические этюды разбросаны там и тут по ходу действия. И, конечно, стихи. И еще кое-что. Но великого романа нет.

Даже при беглом чтении в глаза бросается много самоповторений, или, вернее, авто-цитат. Это не только мысли и размышления автора, но и образы. Например, в «Охранной грамоте» говорится о Маяковском: «за всем этим, как за прямой разбежавшегося конькобежца вечно мерещился какой-то предшествующий всем дням его день, когда был взят этот изумительный разгон, распрямлявший его так крупно и непринужденно» («Охранная грамота», ст. 97).

А в романе автор говорит о своей героине Ларе: «точный общий разгон в жизни она взяла давно в детстве и теперь все совершается у нее с разбегу, само собой, с легкостью вытекающего следствия»... Любопытно здесь не то, что автор пошел на самоповторение — Пастернак рассматривал «Доктор Живаго», как свое главное и в каком-то смысле итоговое произведение и, естественно, что роман вобрал в себя весь художественный и интеллектуальный опыт писателя; подобные «прецеденты» можно найти и у Лермонтова, и у Толстого, и у Чехова, — интересно другое. Подвергнув в «Автобиографии» резкой переоценке историю своих отношений с Маяковским, Пастернак все же не захотел внутренне расстаться с его образом таким как он его видел раньше и переадресовал свое былое восторженное отношение к нему, вылившееся в вышеприведенной характеристике, своей любимой вымышленной героине. Но если к Маяковскому эта удивительная по точности и психологическому мастерству характеристика прилегалa плотно и безошибочно верно, то в портрете Лары она кажется риторическим украшением, так как сама Лара вся насквозь приду-

мана и условна. От неправды целого бесконечно проигрывает и деталь образа, как она ни превосходно вылеплена сама по себе.

Автор не раз говорит от себя и в речах героев о прелести «повседневности» и «быта», но как раз этого-то совсем нет в романе: бытовые подробности приблизительны, вторичны, а часто не точны (и прежде всего условны), почти, как в слабой пьесе, лишенной воздуха и деталей. Есть непонятное внутреннее противоречие. Вначале автор голосом одного из героев говорит, что человек «живет не столько в природе, сколько в истории». Мысль верная, но вся концепция романа насквозь антиисторична даже в пастернаковском понимании истории, как «разгадки смерти и ее преодоления». Странная конспективность, а местами неоправданная беглость рассказа выдает неопытность руки не-мастера, или вернее мастера иной формы. Отчетливо подражательны многие сюжетные реминисценции: все эти бесконечные ночные разговоры, объяснения, выстрел Лары и уход от нее мужа. Это все «литература», как и почти все другие необыкновенные встречи и совпадения, вплоть до появления дочери доктора в конце. Мне кажется, что беда Б.Л. — в неверном выборе жанра для того большого сочинения в прозе, к которому его так тянуло всю жизнь. Вместо того, чтобы, как Толстой, самому найти естественную и единственную для себя форму большого эпического произведения, или, как Герцен, создавший свою неповторимую и сложную по форме книгу-исповедь, Б.Л. взял форму чуждую своей индивидуальности и не растворился в ней, а неплотно натянул ее на свой замысел, и оказался пленником заимствованной формы. Вероятно Б.Л. хотел написать именно роман для того, чтобы его книга нашла более широкую и, так сказать, демократическую аудиторию, чем труд исповеднически-философский или чисто мемуарный. Мне было знакомо его стремление к завоеванию самой широкой аудитории, не поэтому ли он

говорил, что «завидует» авторам «Цемент» и «Разгрома» и рвался к успеху в театре. Замечено, что когда прозаики пишут пьесы, то, стремясь овладеть законами театральности, они часто делаются рабами лже-театральности. Эволюция Чехова-драматурга от «Иванова» к «Вишневому саду» — это путь эмансипации его от условий театральной формы. Так видимо и Б.Л.: желая высказать в прозе свои заветные мысли и наблюдения, но избрав для этого традиционную форму романа, так сказать, для завоевания галерки, он пал жертвой ложного стремления к занимательности, доступной драматичности, фабульности.

Все национально-русское в романе как-то искусственно сгущено и почти стилизовано. Иногда мне казалось, что я читаю переводную книгу (особенно в романических местах) — такая уж это литературно-традиционная Россия, Россия вторичного отражения. Так пишут и говорят о России, кто знает ее не саму по себе, а по Достоевскому, или позднему Бунину. Так и мы часто пишем и говорим о загранице. Это почти условная и очень экзотическая Россия самоваров, религиозных праздников, рождественских елок, ночных бесконечных бесед; стилизованная эссенция России. Не потому ли так велик был успех этой книги за границей? Она вышла к тому времени, когда к традиционной загадке славянской души прибавилась загадка большевистской России, выигравшей страшную войну, и еще одна суперзагадка культа Сталина. Принятая за ответ на эти загадки-вопросы книга не отвечает по-настоящему ни на один из них. Ни одна из сторон русской жизни описанного времени не показана в ней верно и полно. Это в целом очень неуклюжее и антипластичное соединение иногда проницательных, часто тонких субъективных наблюдений автора, с грубо построенным макетом эпигонского романа в манере Достоевского.

Беспомощность Пастернака — рассказчика в романе иногда так велика, что останавливаешься в недо-

умении перед обилием общих мест, которых совсем нет в поэзии Б.Л., и думаешь — одна ли рука это писала? Но по другим кускам (чаще по лирическим, или описательным отступлениям) видишь, что это рука Пастернака поэта. «В растворенную форточку тянуло весенним воздухом, отзывавшимся свежее надкусанной французской булкой». По одной этой фразе можно узнать автора. Или — «Между тем быстро темнело. На улицах стало теснее. Деревья и заборы сбились в кучу в вечерней темноте. Деревья подошли из глубины дворов к окнам под огонь горящих ламп» и еще: «Если недогоревшая головешка задерживает топку, выношу ее бегом, всю в дыму за порог и забрасываю подальше в снег. Рассыпая искры, она горящим факелом перелетает по воздуху, озаряя край черного спящего парка с белыми четверугольниками лужаек и шипит и гаснет упав в сугроб», и «запах лип, обгоняющий поезд, как слух»...

Таких мест много, но как много и натянутого, ходульно-преувеличенного, подражательного. Как верен автор своему отличному вкусу в отрывках, подобных вышеприведенным, и как он изменяет ему, когда вторгается в чужую себе сферу.

В русском искусстве еще один такой (и еще более трагический) пример беспомощности большого художника в чуждой ему области: это стихотворные опыты А.Г. Скрябина, опубликованные после его смерти М.О. Гершензоном в одном из томов «Русских пропилеев». Оригинальный, неповторимый, бездонно-глубокий в музыкальном творчестве композитор оказался неискusstvenным и вялым подражателем общих мест символистской поэзии в искусстве словесном. А известно, что он своим опытам в стихотворчестве придавал огромное значение и искренно считал себя новатором, идущим по еще не открытым путям. Оговариваюсь: Пастернак писал отличную прозу, но прозу иного рода, в жанре же традиционного романа он потерпел обидное поражение.

Когда-то еще в Чистополе мы с Б.Л. раздумывали над странным признанием Л.М. Леонова о том, что высоким достижением русской литературы он считает « Капитанскую дочку » и Б.Л. тонко и глубоко комментировал непонятное мне противоречие между тем, что писатель Леонов любит и тем, как он пишет, но теперь с ним случилось почти то же самое. Восхищаясь Толстым и Чеховым, он оказался эпигоном Достоевского, не продолжателем, а подражателем. Субъективно-монологический дар Б.Л. не справился с созданием идейного романа с конфликтующими сторонами. Там же, где он в романной живописи оставался верным « толстовскому », он показал себя прозаиком чистым и сильным (замечательный эпизод приезда царя в армию, например). Не стану ничего говорить о высказавшей себя в романе поздней религиозности автора — это дело личной совести каждого. Все связанное с этим мне странно : я разделяю убеждение молодого Пастернака, что майское расцветание Камышинской ветки — « грандиозней святого писанья »...

Много можно сказать об этой необычайной книге, такой внутренне противоречивой, пестрой и ненужно-сложной. Как писательский поступок, она мужественна и героична, моральные предпосылки ее безукоризненны, но художественный результат — двусмыслен и спорен. Что же касается того в ней, чем она пришлась особенно по вкусу некоторым кругам на западе и насторожила многих у нас в стране, то мне хочется процитировать авторскую оценку одного из главных героев романа, данную им самим на страницах книги : « Он разобиделся на что-то такое в жизни, на что не обижаются. Он стал дуться на ход событий, на историю. Пошли его размолвки с ней. Он и по сей день сводит с ней счеты »... Можно ли сказать точнее.

Я начал писать эти заметки из неостывающего чувства любви и признательности к Б.Л. Пастернаку и удивления перед ним. Я был бы недостоин этих

чувств и дорогого дружеского расположения, если бы умолчал, или слукавил в вопросе о романе «Доктор Живаго». Будем любить своих избранных и не рабской любовью: это тоже один из его великих уроков.

Присуждение Пастернаку Нобелевской премии по литературе ждали еще в 1957 году, а в 1958 году говорили об этом с уверенностью. Я уже не помню, что питало слухи — может быть зарубежные радиосообщения. В конце октября этот слух стал действительностью.

В Москве узнали об этом, кажется, 24 октября. Накануне выпал первый в этом году снег, но быстро стаял.

На следующий день в «Литературной газете» (редакция, видимо, заранее подготовилась) появилось огромное, почти на две полосы, письмо к Пастернаку от членов редколлегии журнала «Новый мир» с объяснением мотивов отклонения романа и редакционная статья исключительной резкости. 26-го была напечатана большая статья Д. Заславского «О литературном сорняке» («сорняк» — это Б.Л. Пастернак). Именно в эти дни имя поэта стало известно всем.

За две недели до смерти С. Есенина, Н. Асеев разговаривал с ним о призвании поэта и многом другом. Есенин защищал право поэта на написание ширпотребной лирики романсного типа. Асеев записал слова Есенина: — «Никто тебя знать не будет, если не писать лирики: на фунт помолу нужен фунт навозу — вот, что нужно. А без славы ничего не будет, хоть ты пополам разорвись — тебя не услышат. Так, вот, Пастернаком и проживешь!...» Асеев добавляет: «Он именно так и сказал, помню отчетливо («С.А. Есенин». Воспоминания под редакцией И. Евдокимова. Гос. издат. Москва, 1926 г. стр. 194). Любопытно, что в своей позднейшей мемуарной статье об Есенине, Асеев приводит совсем другой текст разговора без имени Пастернака.

Для Есенина в середине двадцатых годов имя

Пастернака являлось нарицательным примером непопулярности. За тридцать с лишним лет изменилось немного. Известность Пастернака попрежнему не выходила за узкие пределы околосредовой среды, студенчества, некоторой части интеллигенции. Но за эти два дня: 25 и 26 октября имя Пастернака стало известно буквально всем.

В ночь на 26-ое снова выпал снег и лежал почти до вечера. Днем я сидел в парикмахерской на Арбатской площади и как раз в это время по радио читали статью Заславского. Все слушали молча, я бы сказал — с каким то мрачным молчанием, — только один развязный мастер стал что-то говорить о том, какую сумму получит Пастернак, но его никто не поддержал. Я знал, что для Б.Л. тяжелее всего не суровость репрессий, а пошлость обывательских кривотолков. С утра на душе лежала какая-то тяжесть, но молчание это меня ободрило.

Несколько дней на еще зеленой траве московских скверов лежал снег и это было очень красиво. Потом снег снова стаял, зима отступила и вернулась осень с чудесной солнечной погодой.

А антипастернаковская кампания нарастала. 27-го октября президиум ССП исключил его из числа членов Союза писателей. 31-го собрание московской организации ССП подтвердило это решение и в своей резолюции потребовало лишения Б.Л. советского гражданства.

Это событие еще у всех в памяти. Стоит ли говорить, что многие выступавшие против Пастернака были неискренни. Это был последний рецидив того великого страха, который остался нам в наследство от годов культа Сталина. Вспоминаю одну из жестоких проработок середины сороковых годов. Литератор Х. резко выступил против Зоценко. Я спросил его, как это совместить с его недавними похвалами по адресу Зоценко. Он ответил мне пышно и эффектно: — Если нужно выбирать между родиной и Зоценко, я выбираю родину... Эта великолепная в своей откровенной

демагогичности формулировка могла пригодиться и многим обличителям Пастернака, но на самом деле людей просто-напросто охватил знакомый, противный, липкий страх...

Два известных писателя жили в это время в ялтинском Доме творчества. Географическое пространство делало для них невозможным присутствие на происходивших в Москве собраниях, но опасаясь, видимо, что их молчание будет для них невыгодно истолковано, они оба поспешили написать резкие антипастернаковские статьи в местную ялтинскую газету. Один из них был видным поэтом, о котором Б.Л. не раз хорошо отзывался, а он сам печатно называл его своим учителем, а другой — его бывшим почти другом, близко знавшим его не одно десятилетие и много раз восторженно о нем писавшим в своих книгах.

Миша Светлов, живший в эту осень в Переделкине, рассказал мне, что в один из темных осенних вечеров местные хулиганы и пропойцы кидали камни в окна дачи Пастернака. Не обошлось и без антисемитских выкриков. Миша сочувствовал Б.Л. и сетовал, что его не хотят понять. Ночью мне не спалось и я представлял себе темную дачу Б.Л., занавешенные окна, запертую калитку...

О своем состоянии в эти дни Б.Л. рассказывал в стихотворении «Нобелевская премия»:

Оно начинается так:

Я попал, как зверь в загоне,
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет...

В театрах — Художественном и Малом, где шли переводы Б.Л., с афиш было снято его имя.

Эта «примета времени» (как любят выражаться критики) сразу повлекла за собой цепь трагических ассоциаций. Казалось, что произойдет что-то еще более

страшное и непоправимое. Все с утра кидались за газетами, а вечерами не отрывались от радиоприемников. Мир был набит новостями; Конклав в Ватикане избрал кардинала Анджелло Ронкалли новым папой под именем Иоанна 23-го. Академик Тамм и еще два советских ученых тоже получили нобелевские премии. В Риге умер С.Э. Радлов, в Ленинграде академик Орбелли. Но говорили все только о Пастернаке. Вот как пришла к нему та самая слава, о которой мечтал когда-то Сергей Есенин.

Дни становились все короче и темнее. На душе было тяжело не только потому, что было жалко Б.Л., и стыдно за многих, а еще потому, что во всей этой истории чувствовался рецидив черной памяти лет культа Сталина.

В последний день месяца стало известно о письме Б.Л. в комитет Нобелевских премий. Оно у нас не было опубликовано и текст его таков: «В связи с тем значением, которое придает Вашей награде то общество, к которому я принадлежу, я должен отказаться от присужденного мне незаслуженного отличия. Прошу Вас не принять с обидой мой добровольный отказ». Одновременно Б.Л. обратился с известным письмом к Н.С. Хрущеву с просьбой сохранить ему гражданство СССР (оно было опубликовано в газетах 2-го ноября). В ответ на это последовало заявление Тасс о том, что Пастернаку предоставляется право поступать так, как ему угодно. И, хотя Кочетов еще называл, в печати Б.Л. «отщепенцем», а Михалков сочинял про него издевательские стишки, кампания медленно, но неуклонно пошла на спад.

После этого Б.Л. стал все чаще болеть. Вскоре он начал писать пьесу, о которой я говорил выше, и вел огромную переписку, отвечая на множество писем, приходивших к нему со всех концов мира.

Вчерашний трудолюбивый затворник, не читающий газет, превратился в модную и сенсационную фигуру. За ним охотились иностранные корреспонденты.

ты, ловившие каждое его слово. Те из них, которым удавалось проникнуть к нему в дом, описывали его рабочий стол, соломенное кресло, книжные полки и галстуки. Их репортажи, в которых была немалая доля фантазии, печатались в крупнейших газетах мира. А в ответ на них почтальоны приносили новые груды писем.

Вот, как он писал об этом :

Тени вечера волоса тоньше
За деревьями тянутся вдаль.
По дороге лесной почтальонша
Мне протягивает бандероль...
Годы, страны, границы, озера,
Перешейки и материки,
Обращенья, отчеты, обзоры,
Дети, юноши и старики...

Ну, а вы, собиратели марок,
За один мимолетный прием —
О какой бы достался подарок
Вам, на бедственном месте моем...

В 1959-ом и в начале 1960 года я почти не жил в Москве и мало, что знаю о жизни Б.Л. в это время. Изредка до меня долетали зловещие слухи о его болезни. Мелькнуло черное слово « рак ».

Верным и близким другом Б.Л. все эти трудные месяцы оставался его сосед по даче Всеволод Вячеславович Иванов. Я слышал от него, что Б.Л. не раз искренне выражал свой ужас о том, что к успеху романа, коим он дорожил, примешалась мода. Он написал переводчикам на западе несколько писем с просьбой не переводить его раннюю лирику, но его не слушали. Сам он собирался закончить пьесу о крепостной актрисе, а также мечтал о новой прозе, в которой он хотел показать, « чего можно достигнуть сдержанностью слога », который позволяет становиться как бы собственным языком положений и вещей,

которые он изображает». Он намеревался превратить отдельные свои заметки о переводческой работе в большую статью о Шекспире и Гете (Запись рассказа В.В. Иванова. Февраль 1961 года).

Я не знаю, как точно датируется стихотворение Б.Л. «Быть знаменитым — некрасиво». Поэт включил его в предполагаемую книгу «Когда разгуляется», объединяющую стихи, написанные в 1956-60 гг. Но даже если оно написано до получения Нобелевской премии и горьких испытаний осени и зимы 1958 года, то все равно как бы отвечает на раздумья Б.Л., связанные с его новым положением в мире и в своей родной стране: ведь у подлинных поэтов лирический отзвук иногда не следует за звуком, а предвосхищает его. Да и, кроме того, Б.Л. прекрасно знал, на что он идет и как все это будет. Не совпали может быть только подробности...

... Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.
Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства.
Услышать будущего зов...
И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.
Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но поражение от победы
Ты сам не должен отличать.
И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
И быть живым, живым и только
Живым и только — до конца.

5.

И, наконец, — этот удивительный памятный до мельчайших подробностей день — 2 июня 1960 года — день похорон Бориса Леонидовича Пастернака.

Незадолго до этого я уехал в Ленинград, зная, что он тяжело болен. Вечер и часть ночи перед отъездом я провел у моего товарища по лагерю, профессора-историка, знатока Ближнего Востока Е.Л. Штернберга — одного из «крестников» Я. Эльсберга. Он нежно любил поэзию Пастернака и в далекой Обозерке близ Белого моря мы с ним не раз соревновались в том, кто больше знает наизусть его стихов. И в этот вечер в Москве, в одном из Кисловских переулков мы, конечно, тоже говорили о Б.Л. и об его болезни — только что прошел слух, что ему стало лучше.

В Ленинграде я часто со страхом разворачивал очередной номер «Литературной газеты», боясь встретить объявление с черной каемкой на последней полосе внизу справа.

Я вернулся как раз в этот день — 2-го июня. Купил на вокзале Литературку и, не посмотрев, сунул в карман. Еду по делам в два-три места и — домой.

Только вошел — телефонный звонок. Друзья рассказывают: час назад кончилась кремация тела Е.Л. Штернберга, скоропостижно умершего в ночь на 31-ое мая. Не успеваю еще задать ни одного вопроса, как узнаю, что они через двадцать минут едут в Переделкино на похороны Пастернака, умершего в ту же самую ночь. Уговариваемся ехать вместе. Долго стою оглушенный. Потом почти машинально лезу в карман плаща за газетой и читаю знаменитое извещение о похоронах «члена Литфонда» Б.Л. Пастернака...

Жарко. Утро безоблачное, но в середине дня появились легкие пористые облачка. В машине нас четверо. По дороге мне рассказывают обстоятельства течения болезни и последних часов жизни Б.Л. Его просьба — открыть окно, повторенная настойчиво несколько раз уже когда окно было открыто, воспринимается не в бытовом, а в символическом значении как восклицание: «Больше света! (Гете), как прощанье с книжными полками Пушкина. С этим ничего не поделаешь. Каждый пустяк увеличивается до мифа. Любая подробность «в прощальном значении своем поднимается», говоря словами самого Б.Л. Простая северная ягода морошка для меня навсегда связана с предсмертными минутами Пушкина. Будто Б.Л. об окне говорил в полузабытьи. А перед этим, придя в сознание, он сказал тоскливо во время очередного укола:

— Ну, зачем вы меня мучаете? Ведь я все равно умру... Может он говорил не это, а совсем другое, или и это, и другое, или вообще ничего не говорил (хотя в этой фразе есть какая-то пастернаковская интонационная подлинность — я ее почти слышу). Время еще выбрало из всех действительных или апокрифических версий свою «морошку», которая завтра станет легендарной. Миф еще не сгустился.

Серой лентой змеится дорога, то в гору, то под гору. Вот налево от нее отделяется, уходя в густой и темный лес, другое шоссе, ведущее прямо к бывшей

даче Сталина. Прошло уже семь с лишним лет после его смерти, но все тут еще кажется полным мрачных тайн, хотя на даче давно уже разместился какой-то детский дом отдыха, и, проезжая мимо этой зловещей развилки, москвичи вспоминают былую суровую дорожную охрану, дежурных мотоциклистов и милиционеров, которые вовсе не милиционеры. Но это уже все прошлое. Мы проносимся мимо него со скоростью 80 клм. в час. Машина летит дальше мимо зеленых подмосковных рощ и цветущих садов. Летний день прекрасен. Вот один поворот, вот другой, едем по дачному поселку, вот пруд и мост, окаймленный низкими черными, с белыми полосками, столбиками и раскидистые ветлы (три года назад я встретил здесь гуляющего Б.Л.), вот остатки парка с липами и лиственницами...

На предпоследнем повороте стоит посредине улицы милиционер. Это неспроста. Никогда ничего подобного тут не было. Он останавливает машину и строго спрашивает: куда мы едем? Хозяин машины, на всякий случай, чтобы не афишировать цели поездки, называет одну из дач, соседних с дачей Пастернака. Разгадав уловку и ничуть не удивляясь, милиционер невозмутимо говорит, что если мы приехали на похороны, то машину нужно оставить здесь. Справа вдоль улицы уже стоит десятка полтора-два машин. Кто-то из спутников заметил, что у милиционера погоны майора. Другой увидел среди стоящих машин несколько посольских. Не знаю, я уже ничего не замечал. Сворачиваем на улицу Павленко. Вторая или третья от угла — дача Пастернака. Входим в распахнутые настежь ворота. В саду уже порядочно народа. Мелькают знакомые лица. Из раскрытых окон дома слышны звуки фортепьяно. В саду полным цветом цветет белая и лиловая сирень. В розовато-белом одеянии стоят тоненькие яблони.

Проходим в комнаты к телу Б.Л. Он лежит в черном костюме и белой манишке. Гроб полусасыпан

цветами. Желто-бледное, очень исхудалое, красивое лицо.

К стене рядом и к подножью гроба прислонены три больших венка. Ленты скомканы, но можно прочесть отдельные слова: ...«другу, поэту»... Потом мне сказали, что это от В.В. Иванова, от К.И. Чуковского и третий поменьше от нашего родного Литфонда.

В соседней комнате громко звучит фортепьяно. Сменяя друг друга, непрерывно играют М.П. Юдина, Святослав Рихтер и Андрей Волконский.

Идем медленно мимо гроба, не сводя глаз с прекрасного лица.

Впервые не удивляюсь его молодости, но это и не лицо старика. Я мало видел его поседевшим и не успел привыкнуть к седине, так контрастировавшей с его молодым лицом. Хорошо помню самые первые серебряные нитки в этих волосах, еще почти незаметные и так его красившие.

Уже в дверях замедляю шаги и оборачиваюсь.

Проходим через сени и выходим из дома с противоположной стороны.

Сад постепенно наполняется народом, хотя до назначенного часа выноса еще два с лишним часа. Вижу К.Г. Паустовского, Льва Славина, В.А. Каверина, старика П.С. Соколова-Микитова... Все стоят кучками и тихо разговаривают. Кто-то шутит и это не шокирует. В общем настроении нет ни подавленности, ни скорби, а скорее даже что-то прекрасно-праздничное, какая-то приподнятость и торжественность. Буйный цвет сада, высокое июньское небо...

В распахнутые ворота непрерывно входят все новые и новые люди. Хорошо знакомые писательские лица, музыканты, художники, и молодежь, много молодежи.

В саду уже порядочно и иностранных корреспондентов, фоторепортеров и кинооператоров. Они — спокойные, деловитые, большей частью рослые малые в серых и черных костюмах с галстуками-бабочками,

многие с очкастыми переводчицами, хладнокровно и умело, без лишней суеты, делают свое дело. Мне показывают известного Г. Шапиро, представляющего в Москве самое крупное американское агентство. Он выделяется и небрежностью костюма, маленький, толстый.

Все они щелкают фотоаппаратами, особенно часто снимают Паустовского. Я пожалел, что не взял свой «Зенит».

Почти все приходят с цветами. В комнатах уже горы цветов.

Меня тихо окликают. Потный, с облупившимся носом, с плащом через руку и книгами подмышкой передо мной стоит Ш. Это мой товарищ по лагерю. Он живет после реабилитации в маленьком белорусском городке и учится на заочном отделении в Библиотечном институте. Приехал на экзаменационную сессию, пришел утром в институт, узнал от студентов про похороны Пастернака, бросил все, и как был, с тетрадями и книгами, отправился на Киевский вокзал. По его словам у кассы пригородных поездов висит написанное от руки большое объявление о похоронах, с указанием, куда ехать и как найти дачу. Вспоминаю, что Ш. писал в лагере стихи и как-то читал мне шепотом в спящем бараке. Его освободили через год после меня и это наша первая встреча с 1954 года.

И еще одна случайная встреча и тоже с бывшим коллегой по заключению. Это блестящий молодой ученый — филолог, исследователь восточного сказочного эпоса, Мел-ий. Он уже успел после лагеря выпустить солидную книгу, а там, за колючей проволокой был незаметным статистиком санчасти.

Впрочем, так ли случайны эти встречи здесь сегодня.

Ведь мы помнили эти строки: « Душа моя — печальница о всех в кругу моем... ».

Я уже рассказывал, как горячо расцеловал меня Б.Л. встретив впервые после освобождения. Иногда

мне хотелось написать ему оттуда, но я опасался его скомпрометировать. Мне известно, что другие писали и он отвечал и даже незнакомым. Его письма есть у находившихся в заключении поэтов В.Ш. и К.Б. Об этом можно много не говорить — достаточно перечитать стихотворение « Душа ».

А народ прибывает. Невозможно перебрать всех близко и отдаленно знакомых, известных в лицо и понаслышке, толпящихся в саду вокруг дома. Называю только первых попавшихся по случайной прихоти памяти, пропуская многих других не по умыслу, а по невозможности перечислить. Вот Борис Ливанов, репетировавший в Художественном театре роль Гамлета в переводе Б.Л. Вот многолетний друг поэта, профессор В.Ф. Асмус, философ и историк. Вот переводчик и художник Вильгельм Левик. Вот старая поэтесса Вера Звягинцева. Вот поэтесса Мария Петровых, приятельница Б.Л. по Чистополю. Вот историк литературы Возрождения профессор Пинский, тоже « крестник » Эльсберга. Вот бывший эсер и эмигрант, а ныне корреспондент « Либерасион » Сухомлин, вот еще одна бывшая « парижанка » и тоже бывшая лагерница Н.И. Столярова. Вот П.А. Марков, В. Любимова, А. Гранберг, А.В. Февральский, Е.М. Голышева, Н.Д. Оттен, Н.К. Чуковский, Л.М. Эренбург, В.В. Иванов. Мелькает бледное лицо Эли Нусинова. Критики : Л. Копелев, А. Синявский, А. Белинков. Молодые поэты : В. Корнилов, Н. Коржавин, Б. Окуджава. Молодая проза : Ю. Казаков, Б. Балтер и многие, многие другие.

Очкастые молодые люди — не то гиковцы, не то будущие архитекторы, юные музыканты, знакомые по консерваторским конкурсам, седые женщины с опухшими от слез глазами (слышу одна из них, рассказывая о Б.Л. называет его « Борей » : кто она ему ?), худой подросток с оттопыренными ушами, будущий физик или поэт, а может быть астроном. Он на всю жизнь запомнит этот день.

Все поколения, все профессиональные ответвления московской интеллигенции.

Резко бросается в глаза отсутствие Федина, Леонова и друга юности Б.Л. Ник. Асеева. Про одного известного поэта говорят, что он уже третий день пьет и доказывает своим собутыльникам, что все люди — подлецы. О Федине слышно, что он сказался больным и, сидя на своей даче поблизости, велел занавесить окна, чтобы до него не доносился с похорон гул толпы.

Я уже давно ищу глазами своего приятеля И., живущего совсем рядом. Он гордился шапочным знакомством с Б.Л. и не раз искренне возмущался всем, что с ним произошло. Наконец, замечаю его жену. Встретив мой вопросительный взгляд, она сама подходит ко мне и торопливо, как бы извиняясь, начинает объяснять, что И. с утра «вызвали» в город, а то бы он обязательно пришел. Она слишком старается меня убедить в этом, чтобы не почувствовать фальши.

Другого знакомого литератора К. я уже давно вижу стоящим за забором с женой и тоже не входящим. Они о чем-то говорят, она громко, он смущенно. Она махнула рукой и вошла в ворота, а он остался за забором. В его растерянности, как в книге, читается инерция многих лет страха. Не у всех совесть так уживчива, как у И., предусмотрительно приготовившего себе алиби. Невольно думается, как много существует вариантов и оттенков трусости от респектабельной и почти благовидной до истерически-надрывной, от бесстыдной до лицемерно прячущейся.

А вот еще одно темное пятнышко. В толпе стали очень заметны некие вовсе не праздно наблюдающие люди. Они тоже прислушиваются к разговорам и щелкают фотоаппаратами. Одного я заприметил и долго наблюдал за ним. Он делал вид, что идет с толпой в дом, все время топчется на месте, зыряка вокруг; расстегнутая ковбойка, низкий лоб и выражение лица, которое не спрячешь. Эти иностранные журналисты, тоже работающие и только за этим приехавшие —

единственный чужеродный элемент в этой пестрой, но охваченной общим настроением толпе.

А народу все больше и больше. Знаменателен удивительный, никем не организуемый и не контролируемый порядок. Никто не распоряжается и не указывает и сотни людей, не спеша и не толкаясь, проходят сквозь дом мимо гроба Б.Л. Правда, иногда в толпе мелькают незаменимый и умеющий быть незаметным душевный и тактичный Арий Давыдович Ратницкий и еще один официальный представитель Литфонда с испуганным и кислым лицом.

Толпа уже запрудила весь сад между домом и забором. Многие стоят за воротами.

Сколько здесь? Тысяча человек? Две? Три? Четыре?

Трудно сказать. Но, пожалуй, несколько тысяч и вряд ли меньше трех. Когда мы ехали, я боялся, что все это будет малолюднее, жалче. И кто мог ожидать, что это будет так. Ведь сегодня сюда никто не пришел из внешнего приличия, из формального долга присутствовать, как это часто бывает. Для каждого здесь находящегося — этот день — огромное событие и то, что это так — еще одна победа поэта.

Мне показывают Ольгу Ивинскую. Она сидит на скамейке у дома и, опустив голову, слушает что-то говорящего ей К.Г. Паустовского.

Это последняя героиня любовной лирики Пастернака и, вглядываясь в ее черты, я ищу ее сходства с женским поэтическим портретом в памятных строфах...

Проходят часы, а мы все стоим в этом празднично-цветущем саду и в ворота все идут новые группы людей с цветами в руках.

Так прошло несколько часов, не помню точно — сколько. Все это время мы говорим только об одном — о Б.Л. Пастернаке.

Но вот доступ к гробу закрыт на двадцать минут для всех, кроме семьи и близких. Ивинская осталась

в саду. Потом она взбирается на скамейку и смотрит в окно. Газетчики в восторге. Сразу защелкал десяток камер.

Окна раскрываются и из них в толпу стали передавать охапки цветов с гроба. Цветов множество и это продолжается довольно долго. Цветы плывут над головами и возвращаются в руки тех, кто их принес.

Когда процессия тронулась, снова почти все шли с цветами.

Из дверей передают венки, крышку гроба и, вот, уже выносят сам гроб.

Что-то подступило к горлу...

Чтобы не оказаться в конце шествия, мы прошли вперед.

Предусмотрительные американцы уже воздвигли за воротами какое-то сооружение из досок и ящиков для кинооператора и фотографов и заранее заняли позицию.

Кладбище от дачи Пастернака метрах в 600-700, если идти по дороге и гораздо ближе напрямик через картофельное поле. Мы идем через поле и подходим минут за двадцать до траурного шествия.

Для гроба была заранее подготовлена машина, но молодежь не дала ставить гроб на машину и понесла его на руках.

Место для могилы Б.Л. выбрано красивейшее — лучше невозможно — открытое со всех сторон, на пригорке под тремя соснами в видимости от дома, где поэт прожил последнюю половину своей жизни.

Здесь толпа кажется еще большей, чем в саду.

Вот и процессия с гробом. Перед тем, как спустить его на землю, рядом с могилой, его почему-то поднимают над толпой и я в последний раз вижу исхудалое, прекрасное лицо Бориса Леонидовича.

Я стою шагах в 8-10 от могилы. Проталкиваться вперед, как делают журналисты, не хочется. А они уже и здесь нашли (или принесли с собой) какие-то

ящики и соорудили помост. Мимо меня, энергично работая локтями, пробирается Г. Шапиро.

Начинается траурное собрание. Первым говорит профессор Асмус. У него нелегкая задача, но он превосходно справляется с ней. Я плохо запомнил его речь, но в ней ничто не показалось бестактным, ненужным, лишним...

Чтец Голубенцев читает: «О, если б знал, что так бывает...»

И другой, незнакомый мне, современный и искренний голос читает до сих пор не напечатанного, но широко известного «Гамлета».

Трудно сделать лучше выбор.

В ответ на последние строки «Гамлета» в толпе пробегает шум.

Атмосфера мгновенно накаляется, но тот же голос, который объявлял об открытии траурного митинга (я не вижу этого человека за головами впереди стоящих), поспешно его закрывает.

Еще больше шум и голоса протестов.

И сразу, еще на общем шуме и возгласах какой-то сладкий голосок что-то говорит о росе, в которую скоро превратится поэт и тому подобную приторную, мистическую чушь.

Он еще не кончил, как хриплый и едва ли трезвый голос выкрикивает, что он должен от имени рабочих Переделкина (какие же в Переделкине рабочие) заявить, что «они» не понимают почему «Пастернака не печатали и что он любит рабочих»... Начинает попахивать политической провокацией, но вездесущий Арий Давидович тихо распоряжается и, вот, раздаются слова команды:

— Раз-два, взяли...

Это опускают в землю гроб.

Слышатся возгласы:

— Прощай, самый великий!...

— Прощайте, Борис Леонидович!...

— Прощайте...

И вдруг сразу наступает тишина, и вот уже застучали комья земли по крышке гроба Бориса Пастернака. По-прежнему жарко, но небо закрылось тонкой облачной пеленой.

Стрекошет портативный киноаппарат. Кто-то зарыдал: нервы не выдержали.

А вообще слез в этот день было немного — только при выносе гроба из дома и сейчас. Общее настроение: торжественное, приподнятое.

Но вот гроб закрыт и сразу же в нескольких кучках молодежи начались громкие споры. В других кучках читают стихи. Кто-то ищет валидол, говорят М. Петровых стало дурно.

Мы медленно возвращаемся к машине. У меня в руках ветка белой сирени с гроба.

Всю обратную дорогу молчим. Разговаривать не хочется. Каждый несет в себе то, что надо не расплескать, сберечь навсегда.

В город вернулись уже в восьмом часу. Жаркий день сменился душным вечером.

Он был мой последний день с Борисом Леонидовичем Пастернаком.

В старинной книге, которой увлекались наши предки, в знаменитом «Ручном Оракуле», написанном еще в конце 17-го века испанцем Бальтазаром Грацканом, говорится, что высшим качеством человека, кроме ума и дарований, является «непосредственность и благородная, вольнолюбивая независимость сердца».

Загорянская. Сент. 1963 г.,

Конарово, Декабрь 1964 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Глава 1	9
Глава 2	25
Глава 3	73
Глава 4	123
Глава 5	149

